



Анатолий Ким / *Собиратели трав*

90 лет

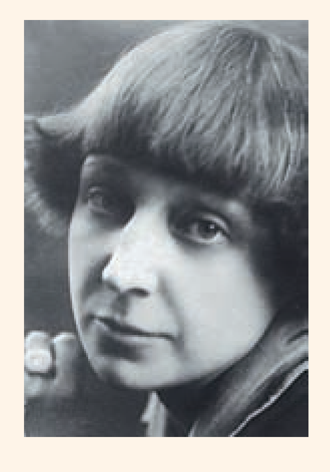


Анатолий Андреевич КИМ

Родился в 1939 г. в селе Сергиевка Южно-Казахстанской области в семье учителя. Его корейские предки переселились в Россию еще в XIX веке. В 1937 г. его родителей сослали в Казахстан, а в 1947-м на Сахалин. Учился в Московском художественном училище Памяти 1905 года, часто выступал как оформитель собственных книг. Окончил Литинститут имени А. М. Горького. Литературную деятельность начал с рассказов и повестей, тематически связанных с Дальним Востоком и Сахалином и несущих на себе печать корейского миросозерцания, быта и фольклора. Преподавал в Сеуле (Южная Корея). Много ездил по российскому Нечерноземью. Принял христианство. Член СП СССР (1978), член Правления Русского ПЕН-центра. Награжден орденом «Знак Почета» (1984) и Золотым Орденом Магунхва Президента Кореи (2014). Лауреат премии Юрия Казакова (2000) и премии «Ясная Поляна» (2005). Автор Романов «Белка» (1985), «Онлирия» (1995), «Близнец» (опубл.2000), «Остров Ионы» (2001), «Арина» (2006), а также многочисленных сборников «малой» прозы. Живет в Подмосковье.

125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой

Музей Марины Цветаевой в Болшево



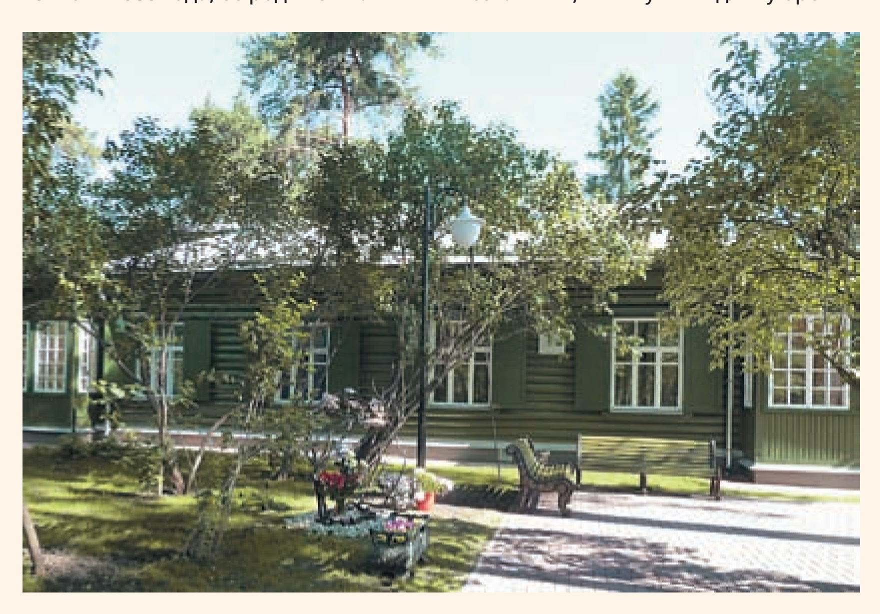
В июне 1939 года, после 17 лет эмиграции, Марина Цветаева с сыном Георгием покидала Францию. Она ехала к мужу — Сергею Эфрону и дочери Ариадне, вернувшихся в Советский Союз осенью 1937 года.

Её возвращению в Россию предшествовали почти два года тяжёлых сомнений и раздумий, итогом которых было — «нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась».

Ко времени приезда Цветаевой, 19 июня 1939 года, ее родные жили в подмосковном Болшеве, в доме №4/33, в поселке «Новый быт» (сегодня ул. Марины Цветаевой, д. 15).

Фасад дома смотрел на железнодорожную колею. Цветаевы-Эфрон занимали две комнаты, в двух других размещалась семья Клепининых, с которыми Сергей Яковлевич был знаком еще во Франции по совместной работе в Союзе возвращения на родину.

Дом был построен в 1931 году и именовался дачей «Экспортлеса». Одноэтажный, вытянутый в длину бревенчатый сруб был спланирован строго симметрично: слева — застеклённая веранда, справа — застеклённая веранда, слева — две комнаты, справа — две комнаты... Гостиная с камином и кухня стали общими на две семьи. Мебель была казённая, тёмных тонов, в стиле 30-х годов — массивная, прямоугольная. Неудивительно, что первым впечатлением Цветаевой было — «неуют».



Здесь, после двухлетней разлуки, семья соберется вместе. И здесь же Марина Ивановна навсегда простится с дочерью и мужем: по подозрению в шпионаже и антигосударственной деятельности 27 августа арестуют Ариадну, 10 октября — Сергея Яковлевича.

Цветаева с сыном остаются одни в большом, пустом, холодном доме.



Н А Р О Д Н Ы Й   Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

2017 №8 /1780/ Основана в 1927 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная коллегия:
Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Юрий Коннов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный редактор
Елена Русакова

Права на использование товарного знака «Роман-газета» принадлежат ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2017
Все права защищены

Подписаться на журнал «Роман-газета» можно в отделениях связи и через Интернет: www.gazety.ru

Подписные индексы издания:

*в каталоге агентства **«Роспечать» 70782** на полугодие, **71752** на год;*

*в объединенном каталоге **«Пресса России» 38915** на полугодие;*

*в электронном каталоге **«Почта России» П1526** на полугодие*

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

Анатолий Ким

Собиратели трав

Повести и рассказы

Я — ГЕНИЙ

Повесть о Смоктуновском

Эти двадцать лет от вечности, что пришлось мне пройти по жизни рядом с ним, я не хочу ни осмысливать умным словом, ни оживлять умиленным чувством. А хочу видеть пройденное, вот как вижу сейчас, и слышать, как слышу всегда, сколько бы ни прошло времени.

Я поднимаюсь по бетонным ступеням безрадостной «хрущевки», пятиэтажки без лифта, к себе на четвертый этаж. Мне тридцать три года и три месяца. Ровно десять лет назад я вернулся из Советской армии, где прослужил в конвойных войсках три года, и начал свой литературный путь. Он пока безрезультатно привел меня на площадку четвертого этажа — и вот я поднимаю свои невеселые глаза и вижу перед собой не то Гамлета, не то Деточкина. Нет, скорее Гамлета, который стоял, потупившись, и смотрел себе под ноги. Он думал: быть или не быть ему на этом свете человеком, которому так нелегко живется? А ведь предстоит еще умереть.

Итак, глаза наши, значит, встретились. Как хорошо, мгновенно вспыхнули его светлые очи в ответ на узнавание — не артиста, уже на весь свет прославленного, но просто человека, у которого скребет на сердце от извечного беспокойства: как это я оказался в этом странном темном углу мирового пространства?..

Впоследствии, когда мы уже много лет были в дружеских отношениях, я помогал ему подготавливать к печати его автобиографический рассказ «Три ступеньки вниз», и там был один фрагмент... Речь шла о его первом убежище в Москве, куда Смоктуновский, провинциальный актер за тридцать, прибыл устраиваться в какой-нибудь столичный театр. «Место это было выбрано мною из нескольких... (Речь шла о семиэтажном доме на самом выходе Остоженки к Кропоткинской площади. — *А.К.*) От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону... так что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, и я мог спокойно возлежать на подоконнике замурованного окна у громыхающего, астматически шумящего лифта... Я здоров душой и телом... И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник, у самого чердака шестиэтажного здания был простым, нормальным подоконником. Иначе чем можно объяснить хотя бы то, что человек на подоконнике, заложив руку за голову, одиноко, вытянуто лежит, вроде спокойно глядя в потолок... Но вдруг ошалело вскакивает и громко начинает выкрикивать обличительные монологи...» И хотя еще далеко впереди предстояло мое знакомство с этим его текстом, но в первую нашу встречу на

полутемной площадке пятиэтажки без лифта я увидел лицо человека, готового начать выкрикивать отчаянные обличительные монологи. О, как много можно прочесть на лице человека, одиноко стоящего где-нибудь в темном углу, когда тот уверен, что его никто не видит.

Я бросаюсь к нему почти в священном ужасе, ибо на всем колоссальном пространстве Советского Союза он был единственный Художник, который делал не то, что повелевала делать несокрушимая воля социалистического реализма... Я спрашиваю:

— Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?

— Я к матери... Она куда-то вышла, наверное.

— Так пойдемте ко мне, у меня и подождете.

— Спасибо!

И вот он у меня, в крошечной квартирке из двух смежных комнат. В окно светит вечернее солнце. Осенний месяц, далекая синева. Он сидит на стуле, ссутулившись, молчит. И я сижу напротив, на другом стуле, и тоже молчу. Этих стульев у меня всего два, они из ГДР, самые дорогие предметы моей скромной меблировки. Он молча озирает жилище, но смотреть особенно не на что. Кроме стола в комнате еще стоит детская кроватка. Все в стиле не осознающей себя нищеты того же упомянутого ретро соцреализма. Так и не осознавая своей вопиющей бедности, я сижу молча минут пятнадцать, в сильнейшем волнении от предчувствия чего-то великого, неописуемого, громадного, ослепительного. С лестничной площадки раздались голоса — женский и потом мужской, хлопнула дверь, мой гость встрепенулся и встал.

— Кажется, мои пришли, — молвил он и покинул меня, коротко кивнув на прощанье.

Я остался в смятении сильного волнения и недовольства собой: случилось чудо, ко мне в дом вошел тот единственный, который своими работами пробудил во мне надежду, что творчество и у нас в стране может быть свободным. Ко мне приходил сам Бог, может быть, а я не узнал Его и молча просидел, как болван, на своем зеленом немецком стуле.

Но минут через двадцать он снова вошел ко мне, и я едва узнал его — Смоктуновский явился в домашних тапочках, ярко-красной рубахе, держал картонную коробку из-под обуви, перехваченную посередине бумажной веревочкой. Никакого даже намека на трагического Гамлета. Он развязал эту веревочку, одним точным движением дернув ее за кончик узелка бантиком. В коробке из тонкого рыхлого картона лежали рядком уложенные мелкие золотистые рыбки — копченая мойва. Разнесся по моей бедной комнате восхитительный запах горячего рыбного копчения. Запах божественный, опять-таки.

Смоктуновский, хищно растопырив длинные пальцы своей поросшей рыжим волосом руки, запустил ее в стройные фаланги уложенной золотистой рыбы, казалось, желая разом захватить и вытащить из коробки всю небольшую армию копченой мойвы. Но как-то неуловимо быстро и незаметно сумел сократить роковой распах своих худых пальцев и выхватить из коробки приличную горсть балтийского деликатеса. Взятый в захват ворох мойвы был щедрым жестом сброшен посреди стола и лег золотистой горкой, в которой рыбы было, показалось мне, намного больше, чем изначально во всей коробке. И впоследствии, читая, как Иисус накормил тысячную толпу паломников четырьмя рыбинами, я ничуть этому не удивлялся, ибо подобное чудо видел у себя дома.

— Это вам, угощайтесь. А это я отнесу родителям. — С этим Смоктуновский накрыл коробку картонной крышкой и ушел к своей любимой теще.

Шира Григорьевна Горшман, моя соседка, новеллистка, писавшая на идиш — языке, в котором звучало и что-то немецкое, и что-то русское, одесское, и несомненно еврейское — интонационно скорбно-задорное, иногда переходящее в конце фразы в унылый шепот. Вот Шира читает, нацепив на красивый мясистый нос очки отнюдь не модняцкие, напоминающие какие-то былые чеховские времена. Читает свой рассказ сначала на идиш, затем в русском переводе, желая донести до моего слуха те музыкальные ценности, которые были заложены на языке оригинала. Но эти сокровенные ценности — знает любой писатель, — увы, невозможно передать в переводе на другой язык. Однако Шира, читая мне на идиш, хотела вдолбить в мое корейско-русское ухо напевное звучание скорбной еврейской души, которое не могло быть сполна передано в русском переводе...

Я также читал ей свои рассказы, и, надо сказать, что в ту пору, когда совершенно не был уверен в том, что хоть что-нибудь получается, эти чтения для меня очень многое значили. Шира Горшман, профессиональная писательница, член Союза писателей, к тому времени имевшая уже две книжки новелл, выслушивала мои рассказы с таким добрым вниманием, столь глубоко вникала в их драматическую корейскую сахалинскую скорбь (первые прозаические мои опусы были о сахалинских корейцах), сопереживала моим героям и внимала их печальным историям с таким печальным взглядом своих синих глаз, словно дело шло о ее местечковых евреях и об их невеселых делах. Как-то так совпало, что мы о своих соплеменниках писали невероятно грустные истории, напоминая бедолаг, которые развлекаются тем, что рассказывают друг другу, напеременку, одну историю печальнее другой. Но нам было взаимно интересно, и мы смогли дать друг другу подлинное творческое утешение.

Несколько дней спустя после первого появления в моей квартире Смоктуновский снова зашел ко мне. Был он в домашней одежде, в тапочках, — приехал из Ленинграда по делам и остановился у тещи. В то время он жил в северной столице, куда его пригласили работать в БДТ, и там он играл князя Мышкина в спектакле по роману Достоевского «Идиот». Роль была настолько знаменитой, что посмотреть ее люди приезжали даже из Москвы... Я не видел Мышкина в

исполнении Смоктуновского, но слышал много легенд, в которых буднично звучали слова «гениальный», «великий», «неповторимый», «недосягаемый». И этот легендарный и великий и недосягаемый запросто пришел ко мне, уселся на зеленый немецкий стул и, глядя мне в глаза, сказал как-то очень просто и необидно:

— Я знаю, что вы пишете. И вас не печатают. Так вот, прошу вас, выберите два рассказа, которые, на ваш взгляд, могут быть напечатаны, и дайте мне.

Я ему ответил, что уже скоро десять лет, как хожу по редакциям, и меня никто не собирается печатать. Теперь уже и совершенно ясно, что печатать не будут. Десять лет для дебюта — это немало.

— Да, немало, — согласился он. — У вас великое терпение, вы молодчина.

— Но терпение уже кончилось, — признался я. — Уже больше не хочу ни терпеть, ни писать.

— И что же будете делать? — спросил он, все так же в упор глядя мне в глаза.

— Пойду выучусь на водителя троллейбусов, — ответил я. — Мне очень нравится эта работа.

Я не стал ему рассказывать, что совсем недавно, в слякотную погоду, после внезапного осеннего снегопада, как это порой бывает в Москве, я шел по краю тротуара, только что выйдя из редакции толстого журнала, в котором мне снова отказали. Редактриса, дама, так сказать, со следами былой красоты на лице, но уже начинающая седеть, мелкокурчавая, как мерлушковый барашек, стала говорить, не глядя на меня, о том, почему мои рассказы не подошли журналу. С большим волнением выслушав ее, я вдруг ужаснулся внезапной догадке: да ведь дамочка совсем не читала моих рассказов! Она несла какую-то полную ахинею, не имеющую ничего общего с их содержанием. Может быть, она перепутала их с чьими-то другими рассказами, другого автора?

Близко проехал мимо, обгоняя меня, синий троллейбус, из-под колес его вылетела тяжелая лепеха жидкого снега и шлепнулась мне на ногу. Как-то очень быстро, мгновенно, ногу промочило. По своей беспечности я не имел надежной сезонной обуви и поздней осенью бегал в летних туфлях, которые в пору моей молодости назывались «полуботинками». Я отошел от края тротуара и, вывернув ногу, осмотрел туфлю: сбоку над самой подошвой оказалась просечка, продолговатый разрыв в истлевшей коже обуви, которую я носил бессменно. Туда, в эту рваную скважину, и натекла холодная снежная водица. Мне было уже тридцать три года, и я навсегда запомнил эту несчастную дырочку в полуботинке, вопиющий знак моей неблагополучной жизни.

Десять лет бегать по редакциям и не удостоиться быть напечатанным ни разу — это круто. Я и сказал Смоктуновскому об этом, вдруг припомнив в ту минуту дырочку в башмаке, куда налилась холодная влага с московской слякотной улицы. Но, разумеется, таким ничтожным фактом я не стал загружать внимание моего чудесного гостя. Ничего не сказал и о том, что, когда обрызгавший меня снежной жижей троллейбус медленно обгонял меня, возникло мгновенное желание кинуться под его задние колеса.

А вот еще один фрагмент из того же рассказа Смоктуновского. «После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения — хорошо помню — не было, только усталость... К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах... Эти похождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как теперь понимаю, просто напрасными — бесплодными... Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького... мимоходом промямлил: «У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришлых всевозможных...» Если тебе дают адрес и мило говорят, что, де, мол, будешь в Москве — заходи, это совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, ну и будет... И вот, размышляя, я с неотвратимой ясностью вдруг увидел, что за все это долгое время не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании и что выхода, пожалуй, и нет».

Что ж, все очень похоже, Москва, как говорится, бьет с носка. Похоже, но разница только в том, что завоевание своего места в Москве у него шло несколько отчаянных месяцев, а мой период дебюта затянулся на десять лет...

— Я вам ничего не обещаю, — сказал Смоктуновский. — Я просто попробую рассказы ваши где-нибудь показать. Если вы не возражаете.

— Не возражаю, но я уже десять лет бегаю по редакциям...

А он сидел напротив меня и смотрел в мои глаза синими мерцающими глазами и улыбался всеми ямочками на своих молодых еще ланитах. Через два месяца с той же чудесной улыбкой он смотрел на меня, держа в руках первый номер журнала «Аврора» за 1973 год, и говорил:

— Ну, вот видите, как славно получилось! Рассказы-то ваши просто замечательные! Замечательные! Мне очень понравились. И откуда только у вас, узкоглазого азиата, такой удивительный русский слог!

— Но, Иннокентий Михайлович! Неужели вы не читали и отдали их в журнал? — Я даже слегка обиделся... Он быстро все понял, вскинулся и ответил обезоруживающе, по-смоктуновски, ясной скороговоркой:

— Только из суеверия! Не хотел сглазить. Но я и не читая знал, что рассказы хороши. Мне Шира Григорьевна говорила...

Шира Григорьевна и ее муж Мендель Хаимович, писательница и художник, были явлены мне так же не случайно, как и Смоктуновский. Хотя никакой нужды не было у этих старых евреев, чтобы в их жизни появился некий нищенствующий писатель, кореец по национальности, с чистопородной корейской семьей — жена-кореянка и двое детей-корейчат. Мне

эта еврейская чета истинно была послана Богом, ибо через их дом вошел в мою судьбу Смоктуновский.

Через него пришло и крещение: я принял христианство из рук Смоктуновского. Произошло это, когда мне исполнилось сорок лет. К тому времени я стал профессиональным писателем и уже мог жить и кормить семью одним только литературным трудом. У меня в глухой деревне Мещерской стороны, в Немятово, была куплена заброшенная изба, которую я поднял своими руками, починил провалившееся крыльцо, купил красного кирпича и вывел над крышей разваленную печную трубу, подвел фундамент под избяной сруб, вырубив нижние сгнившие венцы. Когда-то в семнадцать лет я приехал в Москву с Сахалина, не поступил в Художественное училище и год проработал на стройках Москвы пятидесятых в качестве лимитчика-разнорабочего.

В деревне эти навыки пригодились, и я сам начал приводить в порядок заброшенную избу. Довел ремонт до состояния, когда в доме можно было затопить печку и, стало быть, жить-поживать...

(В этой избушке предстояло быть написанным всему лучшему из моего раннего периода...) Спустя лет пять глубокой осенью в тусклой полумгле рано навалившегося вечера при желтом свете голой электрической лампочки произошло самое главное событие всей моей жизни. Я понимал, что о таком сокровенном, чудесном, нельзя поминать вслух, но почему-то рассказывал везде и всюду, не особенно разбираясь, достойны ли слушатели того сакрального, что явлено было мне сумеречным вечером в избушке на краю деревни Немятово.

Каждый раз об этом я рассказывал со страхом, ибо речь шла о Нем, и лгать перед Ним или по ничтожеству душевному выдавать желаемое за действительное было бы святотатством. Но я снова и снова говорил об этом, каждый раз поверяя себя, внимательно вслушиваясь в свои слова — так ли все это происходило, на самом ли деле, и точно ли я воспроизвожу мистические реалии Богоявления, которого удостоился. И каждый раз мне было страшно. И сейчас страшно.

Он был невидимый, но был рядом, Он был неслышимый, но я сразу же вздрогнул, услышав духовным слухом Его прекрасный голос. Я не видел Его глаз, но они смотрели на меня с такой светлой силой безмерной любви, с какой никто никогда не смотрел на меня. Темно-серый воздух избы, разжиженный желтым светом голой электрической лампочки, крапленной мушиными точками, словно стал раскаляться, пронизанный волнами вихревого электрического тока, и этот вихревой ток стал стекать по моим щекам обжигающими струйками. И прекрасный мужской голос, который не звучал, но ясно был слышен, говорил что-то сладкое моему сердцу, навсегда утешительное, убиравшее все тревоги моей души и ярко осветившее, словно солнце в полдень, весь предстоящий мой жизненный путь. И эти прекрасные невидимые глаза смотрели на меня с великой силой любви, сияли передо мной, а я стоял перед Ним, закрыв ладонями свои собственные.

Богоявление в избушке на краю деревни Немятово произошло тридцать пять лет назад, и я уже не помню, как завершился этот мистический для меня день, когда и как я укладывался спать в ту ночь. Но хорошо помню утро следующего дня, когда проснулся при ярком свете солнца, потоки которого прорвались через маленькие три оконца с уличной стороны избушки. Я лежал на суровом аскетическом одре расшатанной деревянной кровати, на которой когда-то спала старушка Верочка, прежняя хозяйка дома. Я весь был залит бушующими потоками света, слепящее солнце светило в глаза. И тут, не открывая их, я вспомнил о прошедшей чудесной ночи, вспомнил голос Того, который ясно произнес, что мне надобно делать: «Тебе нужно креститься». После того, как вновь прозвучали ясным утром в памяти эти слова, я открыл глаза и увидел жизнь вокруг себя совершенно по-новому, в ярком многоцветии, в ином освещении. Как выглядел свет жизни дотоле, тридцать пять лет назад и раньше, я плохо помнил. Словно все происходившее ранее было бесцветным, как черно-белое кино.

Итак, проснувшись после преображения с ясной мыслью, что надо мне креститься, я стал раздумывать, как это осуществить. Никогда до этого я не связывал себя ни с какой известной мне религией. Верующий человек был в моем представлении притворщиком, когда заявлял, что верует в Бога. В моем сознании, стало быть, и в душе моей истинно зияла пустота безбожия, наполненная призраками человеческих знаний, почерпнутых из тех немногих книг, которые мне удалось прочитать. И какие бы это ни были книги, какие бы известные мудрецы ни написали их, душа моя была пуста и ничтожна, а ум беден как церковная мышь. Но я был вполне доволен собой и даже всерьез считал себя хорошим писателем, потому что с легкой руки Смоктуновского меня начали печатать в журналах и в книжных издательствах. Вчерашнее ночное Богоявление и сегодняшнее утреннее решение креститься пало на убогое поле моей безбожной жизни — словно огненный болид, внезапный гость из Вселенной. В моей душе воистину произошло внезапное преображение. Проснувшись утром, я обнаружил себя новым человеком, и надо было его потихоньку вводить в реалии прежнего существования. Оно же было настолько серым, убогим, бесчудесным, что надлежало немедленно что-то предпринимать, чтобы вино пришедшего нового духовного содержания не прорвало мехи старого приземленного душевного бытования. Чтобы удерживать в пределах прежней житейской реальности чудесную ночную бабочку метаморфозы, наутро надо было немедленно что-то делать. Что-то конкретное и совершенно необходимое. И я решил, что мне должно напрямую исполнить то, что было велено Его голосом: «Тебе нужно креститься...» Это и надо было сделать немедленно и напрямую.

В умирающей деревне на зиму оставалось еще несколько детей.

И вот я подумал, что дети крещены, невинны и безгрешны не менее любого священнослужителя, поэтому вполне могут быть моими крестителями.

Завтра мы пойдем на речку Куршу, они затолкают меня в воду, а потом я выйду, и они наденут на меня крестик, вот и все...

На другое утро, проснувшись, я был удивлен необычно ярким светом, что стоял в трех крошечных окошках моей избушки. Никакого солнечного светопада, как вчера утром, не обрушивалось в темную избу — за окнами висело серое пасмурное небо в лохматых тучах. И тем не менее — этот яркий, до боли в глазах, свет с улицы! Я вскочил с кровати и, вздрагивая от холода, подбежал к окну, ожидая еще какого-нибудь чуда. Но никакого чуда не было — на серый, тусклый осенний мир ночью пал первый и сразу обильный снег. Вся улица, крыши домов и сараев, изломанные штрихи обнаженных ветвей и корявые стволы деревьев были покрыты нетронутой белейшей порошею первого снега. Белый снег торжествовал во всем заоконном мире, и это от него снизу, а не от солнца сверху, исходило ровное мощное белое сияние.

Я понял, что мое крещение в Курше, словно в реке Иордан, не может состояться. И моих крестителей, прелестнейших девчушек из деревни Немятово, ожидало большое разочарование. Да и мне было как-то грустновато, что намеченное священнодействие не состоялось. Хотя при мысли о том, что меня миновало купание в ледяной речке, растекалось по сердцу чувство облегчения. Я готов был совершить подвиг во имя такого великого дела, как Крещение, но когда оно стало невозможным, — не лезть же было в реку, ломая прибрежный ледок, — я испытал облегчение и грустное разочарование. Знать, не дано...

С этой затаенной грустью на сердце уже глубоким ноябрем я выбирался из деревни, испытывая смутное беспокойство оттого, что было мне такое чудесное явление — и оно проплыло мимо меня в космической затаенности одной серой осенней ночи, словно звездный корабль, и снова исчезло в космической дали. И Тот, кто приплывал на этом корабле, велел мне принять крещение, но этого не получилось.

Итак, я вернулся домой в Москву уже к вечеру, искупался в горячей ванне и, с влажной еще головой, направился в кухню, откуда доносился запах домашней еды. Я был на дороге уже с утра раннего, случайным попутным трактором добрался из Немятово до соседнего села, центральной усадьбы совхоза, оттуда местным автобусом проехал двадцать километров до городка Тума, где пересел на рейсовый автобус, весь день был в пути и ничего не ел. Но мое неистовое устремление к обеденному столу было прервано телефонным звонком.

— Это Смоктуновский, — прозвучал знакомый голос. — Здрасьте, Толя.

— Здрасьте, Иннокентий Михайлович!

Я был изрядно удивлен: мы не виделись все лето и осень, считай, полгода. Звонок был неожиданным. Поэтому не смог сразу настроиться на должный радостный лад и довольно спокойно повел дальнейший разговор. Последовала небольшая пауза, затем:

— Толя, вы не хотите креститься?

— Хочу! — Это без всякой паузы.

— Вот и славно! — Тоже без промедления.

— А когда?

— Завтра. Приезжайте в десять. Я тут решил крестить Филиппа и почему-то подумал о вас.

Вот и все.

Назавтра прихожу к нему на Суворовский бульвар, он сидит за низеньким столиком, в просторной обвисшей футболке, с голой жилистой шеей, с беспорядочно ниспадающими кудрями, на носу круглые старушечьи очечки. И, целясь сквозь них, озабоченно оттопыривая нижнюю губу, Смоктуновский пытается попасть кончиком шнурка в ушко светлого оловянного крестика. Кончик белой веревочки был разлохмачен и никак не хотел попадать в узкое отверстие, пока Смоктуновский не сделал то единственное, что надо было сделать. Он с уморительной озабоченностью посмотрел на меня поверх очков, затем поплевал на пальцы и скрутил рыхлый хвостик шнурка в остроконечную пику. Этой пикой он с торжествующим видом и проник сквозь скважину крестика, словно прогнал верблюда сквозь игольное ушко, и затем связал мертвым узлом концы веревочки.

— Это для вас, — сказал он. — Для Филиппа я уже давно приготовил, а вот вам не успел купить. Отдаю свой детский крестик, не будете возражать?

Были эти слова сказаны или другие, не могу ручаться за давностью лет и по причине того, что меня в ту минуту стали душить слезы. В глазах все расплылось, и я молча отошел куда-то в сторону. Какая-то острая высокая боль пронзила мне сердце, и я навеки преисполнился великой благодарностью к нему. Я видел, что это действительно мой крестный отец, он трогательно заботится обо мне, потому что любит меня. Он стал также самым любимым для меня человеком на земле. Мой крестный. Да и я, кажется, для него единственный крестный сын: кроме Филиппа и меня он вряд ли еще кого-нибудь крестил. По крайней мере, никогда не говорил об этом. И я полагаю, что он надел на меня крест, оберегавший его на войне.

После крещения мы поехали по темным улицам Москвы домой к отцу Владимиру. Там Смоктуновский обратил внимание на висевшие в рамках фотографии, на которых Владимир Рожков, наш креститель, снялся рядом с папой Римским и еще какими-то католическими прелатами. Мы узнали, что батюшка подвизался при Патриархии в иностранном отделе, был с какой-то миссией в Ватикане. И тут последовал вопрос Смоктуновского:

— Христос-то у нас один, а вероисповеданий сколько! И все считают, что истинная вера именно у

них. Даже воевали из-за этого! Почему так, отец Владимир?

На что священник ответил не сразу, построжел лицом, перестал улыбаться приветливо и хлебосольно знаменитому на весь мир гостю. Потом молвил:

— Я вижу, что в вопросах веры вы не очень просвещены, Иннокентий Михайлович. Вот и детей привели крестить совсем не готовыми. Надлежащих молитв к этому не выучили, Символ Веры не прочитали, в книжечки не заглядывали...

— Батюшка, а надо ли? Главное — верить. Я видел, какое было лицо у Анатолия во время обряда... Он поверил. Батюшка, вера нужна прежде всего, а книжки можно почитать и молитвы выучить...

Отец Владимир подумал, перекрестился и сказал:

— Воистину Бог знает, кого привести ко кресту. Раз Господь призвал вас, значит, так и надо было. — И добавил: — Вы, Иннокентий Михайлович, веруете как какая-нибудь темная деревенская бабка. Но не обижайтесь на мои слова! Я много знал верующих, из них самые истинно верующие — как раз темные деревенские бабки. Вера их прочная, самая чистая...

О своей вере, собственно, Иннокентий Михайлович никогда особенно не распространялся, и о его религиозных чувствах, что как у темных деревенских бабок, можно было только догадываться по некоторым из его рассказов.

В детстве подростком он жил в деревне у своей тетки, сестры матери. Как звали тетку, память моя не сохранила. Она его молиться научила.

— Зимой корова отелилась, и теленка поставили в теплую избу. Я должен был следить за ним — как только теленок согнет спину и поднимет хвост, я должен был тут же подскочить и подставить оловянную миску. Сначала все было хорошо, я подставлял миску вовремя, но потом начал читать Достоевского, «Преступление и наказание», кажется. Стал зевать, и бывали промашки. Меня у тетки здорово наказывали. Однажды я пропустил все и только увидел, как дядька с палкой в руке подступает ко мне. Тут я мигом бросился на колени перед иконой и стал креститься. Знаете, меня не тронули!

Другой рассказ о том, как на войне молитва спасла ему жизнь, я услышал в машине, когда мы вдвоем с ним ехали в Суздаль. Дело было зимой, Смоктуновский вдруг освободился от всех работ и решил на неделю сбежать в Суздаль, а меня пригласил с собой за компанию. Я очень обрадовался, — еще бы! — да мне и самому в семейной хрущевке с двумя детьми, с собакой Орланом, с котом Васей куда как было невмоготу. А тут — на целую неделю удрать от всего этого в тишину сказочного зимнего Суздаля... И в уединении со своим обожаемым крестным!

Мы выехали из Москвы и вначале оказались не на том шоссе, которое было нужно. Смоктуновский вел машину не очень уверенно, как-то сильно сгорбившись, глядя исподлобья вперед. Прочитал вслух на дорожном указателе: «Люберцы», — и задумался, но продолжал ехать дальше. Думал он довольно долго, приговаривая при этом: «Люберцы... Люберцы...» Потом переменил ударение: «Любéрцы» — и после чего добавил: — «Люберцы́-ы! Едем не так, Толя. Надо поворачивать назад».

И он повернул назад, и не так уж скоро, но пополудни мы были на нужной нам дороге. Недавно прошла сильная оттепель, да еще дождь со снегом, потом резко подморозило, и трасса шоссе была сплошной серый каток. Иннокентий Михайлович сказал по этому поводу:

— На такой дороге, знаете, надо очень осторожно тормозить... Чуть что не так, машину тут же закрутит, и ничего с нею нельзя будет поделать. Потеряет управление...

Только он это вымолвил, как нашу «Волгу» словно подняло в воздух, она стала будто невесомой и плавно закрутилась в сомнамбулическом вальсе посреди шоссе. Сделав полный оборот, машина встала против того направления, по которому мы ехали. Мотор был выключен, мы были на встречной полосе, лицом к тем машинам, которые мчались по ней. Так как «Волга» стояла чуть косо, мое пассажирское место на переднем сиденье было открыто для прямого удара. Его готовился нанести автобус, стремительно приближавшийся к нам — лоб в лоб. Я хорошо различил лицо водителя, оно было искажено в гримасе ужаса и белым как бумага. Удивительное, невиданно белое лицо человека. Застывшие глаза. Лицо молодое, красивое. Оно промелькнуло близко от моего лица, я только услышал резкий и сильный звук «ш-ш-шик!» — и нашу машину качнуло от воздушного удара. Автобус со страшным белым лицом водителя пролетел мимо, чудом обогнув нас.

Наступила тишина. Дорога на встречке была пуста. Смоктуновский молча, как в трансе, завел машину и стал осторожно, невозможно медленно поворачивать «Волгу» назад, выезжая в нужном нам направлении. И тут, как это бывает только в кино, впереди показалась милицейская машина. Остановилась метрах в пятидесяти от нас, из нее быстро выскочил гаишник в белой дубленке и палочкой перегородил нам путь. Смоктуновский остановил свою машину, осторожно поставил ее на обочине. Гаишник застыл на дороге как статуя командора и грозно смотрел в нашу сторону. Лицо красное, круглое, непреклонное. Тут Смоктуновский впервые после дорожного шока заговорил:

— Ну, Толя, придется мне покувыркаться.

Я ничего не понял. Смоктуновский же, бывший до того в лохматой шапке, стащил ее с головы и, держа ее в руке, полез из машины на холод. Согнувшись, вихляющей походкой длинный Смоктуновский шел навстречу гаишнику. У того лицо было по-прежнему красное, злое, непреклонное. Но вот, когда Смоктуновский остановился перед ним и, свершая виноватые экивоки, стал что-то говорить (только пар от дыханья клубился над его лысеющей головой), злая красная физиономия гаишника вдруг из круглой в секунду стала растопыренной, оваль-

ной, расплывшись в широчайшей улыбке. Видимо, гаишник узнал всеми любимого Деточкина из кинофильма «Берегись автомобиля». Дорожный инспектор почувствовал, должно быть, на минуту себя в ситуации народного фильма. О, лицо его никогда не могло быть злым, оно излучало само добродушие! Все кончилось тем, что гаишник и Смоктуновский ударили по петухам, то есть пожали друг другу руки, и потенциальный виновник ДТП, создавший серьезную угрозу страшной аварии, потрюхал назад к своей машине, на ходу торопливо натягивая на голову меховую шапку. Подбежав к самой машине, Иннокентий Михайлович посмотрел на меня через ветровое стекло, состроил уморительную рожицу и показал язык. Усевшись за руль, он вздохнул глубоко и сказал с облегчением:

— Ну все, покувыркался.

Затем перекрестился, и мы поехали дальше. Проезжая мимо стоявшей перед нами патрульной машины, Смоктуновский погудел, а инспектор отдал ему честь по всей форме.

Мы долго ехали молча, каждый переживал недавно прошелестевший мимо смертельный миг посвоему. Я испытывал некоторую неприятную боль в горле, словно закостеневшее кольцо, которое стояло там и саднило, как опоясывающая глотку ангинная опухоль. Проглотить ее было невозможно, уйти от нехорошей боли никак нельзя, потому что совсем недавно смерть пролетела вблизи моего лица и — ш-ш-шик! — и едва не задела его жестким крылом. Никогда еще я не испытывал такого беспомощного обреченного состояния, как в мгновение приближения смерти. Когда становится ясно, что, если она вдруг явится перед тобой, от нее никуда не уйти... Но она прошелестела мимо, и только в горле застряло болезненное кольцо от ее внезапного мимолетного прикосновения. Я оглянулся на Смоктуновского, он бросил в мою сторону мгновенный взгляд и вновь исподлобья уставился на дорогу. И опять ехали молча, довольно долго. Вдруг он произнес:

— Что, испугались?

Меня задел вопрос, особенно тон, в котором прозвучал, как мне показалось, знаменитый смоктуновский ехидный сарказм.

— А вы нет? — с плохо скрываемой досадой прозвучал мой собственный голос.

— Испугались... Но это зря, вам нечего было бояться, дорогой.

— Это даже интересно получается, — начал я заводиться. — Вы нас обоих чуть не угробили, а вместе с нами и людей из автобуса... И мне нечего бояться?

— Совершенно верно.

— Это почему же, Иннокентий Михайлович?

— Да потому, Толя, что вы забыли, с кем вы едете.

— Я еду с великим Смоктуновским. Что с этого?

— Вы сердитесь, Толя... Извините. Я виноват, а вы неверно меня поняли... Придется объяснить.

И после этого он начал свой рассказ, длиной почти до самого Суздаля.

— Мне много приходилось видеть самого жуткого на войне. Когда она началась, я еще учился в школе, в десятом классе. Отца в первые же дни забрали на фронт. Он у меня был большой, рыжий детина под два метра. Работал грузчиком. Когда колонна мобилизованных шла по улице к вокзалу, отец шел с краю правофланговым. Я бежал рядом с колонной и почему-то плакал, смотрел на отца и плакал. Отец не оглядывался, меня вроде бы и не видел, но вдруг вышел из строя и пошел прямо на меня. Остановился, очень строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты чего? Смотри у меня!» — повернулся и опять возвратился в строй. С того дня я отца больше не видел. Он погиб в сорок втором году. А меня самого в шестнадцать лет военкомат отправил на войну, правда, полгода готовили на командирских курсах, а потом отправили на фронт. Я попал под Сталинград на Курскую дугу, там нас, пехоту, немцы окружили и взяли в плен. Отогнали от линии фронта и поместили в лагерь для военнопленных. Это было огромное выгороженное место в чистом поле. Никаких бараков, просто кусок ровной степи за колючей проволокой. Вокруг со всех сторон горизонт под линеечку. У въезда какие-то строения, бараки для охранников. А пленных тысячи! Уже пришла осень, холодные дожди начались, а мы под открытым небом. Рыли руками, щепками, котелками ямы, садились в них, сверху накрывались с головой шинелью. Ямы надо было рыть ровными рядами, немецкий порядок. Они патрулировали по лагерю, ходили по рядам с автоматами в руках, считали нас по головам. Каждый в яме должен был подниматься на ноги и стоять навытяжку, когда патруль приближался. Кто не поднимался, болен был, или без памяти, или уже мертвый, получал короткую автоматную очередь, и двое шнырей из пленных должны были оттащить убитого за руки или за ноги к вахте, там бросить в общую кучу трупов. Один пленный, недалеко от меня, вырыл очень глубокую яму, а сбоку еще и пещерку, куда забирался с головой, прятался от дождя и чтобы теплее было. И вот патруль подошел, немцы постояли, посмотрели вниз, потом один вытащил гранату, бросил в яму, все шарахнулись в сторону, присели, а граната грохнула и похоронила пленного в его собственной яме.

Я заболел дизентерией. Кормили нас такой ужасной баландой, что ее не хотели жрать даже крысы, которые стаями бегали по лагерю. Я вынужден был сидеть в яме с приспущенными штанами, потому что из меня беспрерывно хлестало, хотя я почти ничего не ел. К баланде, которую приносили в огромных бадьях на палке, я и не подходил.

Как-то я увидел у одного из шнырей, которые помогали немцам, в руке буханку хлеба. Эти пленные, собиравшие по лагерю трупы и таскавшие их к вахте, выглядели получше остальных — немцы их подкармливали. Этот шнырь заметил, как я смотрю на его хлеб, и предложил мне обмен. Он отдает буханку, а я отдаю свои сапоги. Я пришел на фронт совсем не-

давно, сразу же попал в плен, и у меня были почти новые крепкие сапоги. А у этого солдатика на ногах были резиновые чуни, наваренные из автомобильной камеры. Вот и предложил мне обмен: он отдает мне чуни с обмотками, а себе забирает сапоги, но в придачу отдает буханку черного хлеба. Обмен я этот тут же совершил, сапоги отдал, обернул ноги грязными обмотками и натянул чуни. Хлеб положил за пазуху, хотел щипать маленькими кусочками, чтобы растянуть надолго, но ничего не вышло. Как только первый кусочек положил в рот — так и не заметил, что было дальше. Опомнился, когда весь хлеб был съеден. И что тут началось! Все съеденное вылетело из меня жидкой дизентерией, я чуть не помер. А чуни эти меня крепко подвели в скором времени.

Наши пошли в наступление, и немцы решили перегнать пленных подальше от линии фронта. Это было кстати, уже выпал снег, и мы могли попросту замерзнуть в лагере. Нас построили по пятеркам в длиннющую колонну и погнали. Недалеко был захваченный немцами в летнем наступлении наш армейский склад амуниции, колонну подогнали к нему и на каждого пленного натянули по две шинели. Видно, вывезти трофеи у немцев не хватило машин, и они решили использовать пленных.

Мы шли колонной по пять, одетые в новенькие красноармейские шинели нараспашку. Я уже доходил от дизентерии, в глазах все плыло. Видел перед собой спины впереди идущей пятерки. И вдруг заметил, что когда от слабости я на какое-то время закрывал глаза, а потом открывал их — из заднего ряда на мое место в переднем ряду, от которого я отставал, быстро проскакивал кто-нибудь из задней пятерки и занимал мое место. А я оказывался на ряд ниже по колонне. Через некоторое время у меня снова в глазах плыл туман, провал памяти — и снова я оказывался в следующем ряду сзади. Скоро я очутился в последних рядах колонны, вернее, там уже никто рядов не придерживался, и шли вперед, хватая руками воздух, хрипя и шатаясь, с безумными лицами доходяги.

И тут Смоктуновский стал показывать, в едином своем лице изображать шествие обреченных доходяг. Показывал он страшно... Но руля не выпустил.

— Я понял, что оказался в хвосте колонны, где скопились погибающие, потерявшие все силы. Тут услышал близкие выстрелы, оглянулся и увидел, как едут сзади две телеги, запряженные лошадьми. На эти телеги забрасывают шинели, снятые с упавших на дорогу пленных. Потом подходят к ним, пристреливают и оставляют на снегу дороги. Она далеко просматривалась и вся была в темных лежащих трупах. Как только я все понял, то откуда только силы взялись — начал рваться вперед, обгонять других в толпе доходяг и вскоре догнал уже задние ряды пятерок. Но и тогда я продолжал рваться вперед, занимая место в передней пятерке, как только образовывалась там пустота после отставшего. И вскоре я оказался далеко от страшного арьергарда колонны. Мне ведь было семнадцать лет, жить хотелось и не хотелось умирать.

А после было вот что. Колонна вдруг остановилась. Причина была непонятна. Голова колонны уходила так далеко вперед, что ее не разглядеть. Место задержки моей части колонны оказалось на мосту через какую-то небольшую речку. И тут я почувствовал, что страшно хочу пить. Внутри все горело. Я понял, что не смогу дальше идти, если не попью. Я подошел к конвойному немцу. Камрад, сказал я, камрад! Тринкен! Немец на меня посмотрел, ничего не ответил и только махнул рукой, сняв ее со ствола автомата. Мол, иди. И я вышел из колонны и пошел вниз по крутому берегу с нашей стороны моста. Снегу было по колено, и я сошел вниз без труда, не упал.

Внизу, выйдя на лед, я захотел разбить его ногой, но не тут-то было. Ноги мои были в резиновых чунях, к тому же я совсем ослаб от болезни, сил не хватало на хороший удар. Стою и плачу. Тут сверху спустился еще один солдат. Он разбил ногой лед, и мы попили. Я ему говорю: брат, я не дойду. Спрячь меня под мостом. А там стояли бревенчатые сваи, и вокруг бревен водой нанесло много мусора, камыша, сена, веток. Я прижался спиной к одной свае, но солдат испугался и быстро убежал назад. Когда он спускался сверху, то скатился по сугробу по моим следам и сровнял их. Когда он вернулся наверх, колонна уже тронулась. Но с другого края моста спустился на берег офицер с пистолетом в руке. Шинель мышиного цвета, одна пола заткнута под ремень. Он ступил на лед, поскользнулся и упал на колени. Пистолет вышибло из руки и прокатило по льду мимо меня. Офицер быстро пополз за ним, не стал даже подниматься с четверенек. Только тогда поднялся, когда догнал пистолет. Стал оглядываться, но с того места, где он находился, меня уже не мог увидеть, я был в мертвом пространстве, за сваями. И тут я стал молиться. Господи, спаси! Господи, помилуй! Офицер с пистолетом в руке полез наверх с моей стороны моста, назад на свою сторону не пошел, побоялся идти по льду. Колонна уже шла через мост.

На этом месте своего рассказа Смоктуновский прервался, глубоко задумался, потом выпустил из рук руль и широко перекрестился.

— Господи! Воистину ты существуешь, — с глубоким чувством произнес он. На секунду зажмурился, совершая крестное знамение, — так показалось мне. Я осторожно покосился на спидометр: машина шла под сто километров по ледяной дороге. Осторожно, ровным голосом я произнес:

— Руль, Иннокентий Михайлович...

— А? Что? — немного переигрывая, «пришел в себя» Смоктуновский.

— Руль держите...

— Вы про это. — Он положил руки на руль. — Но я вам уже говорил.... Не забывайте, с кем вы едете. Какая-то высшая сила все время спасала меня на войне. Я ни разу даже не был ранен. А ведь приходилось иногда под самым носом смерти плясать.

Я много раз смотрел ей в лицо. И я знаю, что нас только Бог спасает. Мы сами ничего не можем.

— И все же руль не надо выпускать, — мелочно препирался я. — Одна старушка в деревне говорила: Богу молись, а к берегу гребись.

— Очень мудро говорила ваша старуха. Я тоже так считаю. Конечно, надо молиться, но Бог ничего не дает, если не будешь до последнего хрипеть, выбивать у жизни свое спасение...

Когда я вернулся с войны, мне было двадцать три года, я дошел до Берлина и еще два года дослуживал в Германии свой призывной возраст. Вернулся в Красноярск, а там меня никто не ждал. Отец погиб, мать — рабочая косточка, братья карабкаются сами по себе. Мог ли я тогда мечтать о театре? Да я и не думал о нем, мне хотелось где-нибудь пристроиться, выучиться на кого-нибудь, чтобы прожить... Театр выскочил случайно. Встретился я со своим дружком, он тоже после армии искал себе место и уговорил меня пойти с ним подавать в лесной техникум. Но ничего у нас не получилось, мы не смогли сдать экзамены, и тогда друг предложил пойти на годичные курсы при студии драматического театра. Там экзаменов никаких не требовалось, зато давали стипендию. Мы решили перекантоваться год, а на следующий снова попытаться в лесной техникум. Но через год дружок мой поступил-таки, а я остался при театре.

— Что-то почувствовали?

— Я вам говорил уже, что в детстве любил читать. А то, что было в жизни, особенно на войне, и то, что было в книгах, настолько разное, что не хотелось того, что в жизни, а хотелось того, что было в книгах. А на сцене книга оживала. Жизнь же настоящая была настолько жуткой, что хотелось отвернуться от нее. Она была мне непонятна. Зачем все это? — вставал вопрос. Для такой жизни, какую я узнал к тому времени, мне не хотелось отдавать себя, свою молодость и красоту, а я был красивый малый, Толя. И тут мне раскрылся театр, в театр можно было сбежать, в театре можно было спасаться. Да, да, лично я мог спастись только в театре, на любом другом месте я пропал бы. Бог меня привел туда, чтобы я не пропал. Бог меня всегда хранил и спасал... Неужели вы думаете, что после всего этого он дал бы мне погибнуть где-то на дороге в автокатастрофе? Когда я стал гениальным артистом, как вы говорите.

Он долго вел машину, молча исподлобья глядя на дорогу. Потом усмехнулся, бросил короткий боковой взгляд в мою сторону и продолжил:

— Не вы один это говорите мне, и я знаю, что ваши слова искренни, вам незачем льстить мне. Но я и сам могу подтвердить, что некоторые мои работы гениальны. Говорю это без ложной скромности, как видите. Я не знаю, как это получается, но всегда знаю, когда играл гениально. И тогда мне все равно, кто как подумает и что скажет. Надо мной многие потихоньку смеялись, многих это раздражало, когда я так говорил о себе, а у некоторых это попросту вызывало чувство ненависти. Особенно не любил этого свой брат актер.

Мы остановились в придорожном кафе, чтобы отдохнуть и перекусить, и разговор наш продолжался дальше за тарелкой борща и за шницелем рубленым натуральным с макаронами на гарнир. Мы с ним были совершенно одни в холодной едальне с дюралевыми столиками, с такими же стульями. Весь обед запивался мутным напитком, который шел за «кофе с молоком». Я закурил, тогда в кафе можно было курить, на столах стояли стеклянные пепельницы. Иннокентий Михайлович не курил, я за все время наших встреч видел всего несколько раз его с сигаретой. Он после обеда не стал нахлобучивать шапку, чтобы его не узнавали, ведь в кафе кроме нас с ним никого не было. Глядя пустыми отсутствующими глазами перед собой, изображая полную сытость, отвалившись на спинку стула и вытянув длинные ноги в меховых ботинках, Смоктуновский говорил:

— О том, что сыграл гениально, я знал в тех случаях, когда не помнил того, как это происходило на сцене, на киноплощадке. Мое нутро, мое Я как бы умирало, — умирало и приходило другое Я. И оно делало то, чего хотело делать. На репетициях у меня каждый раз получалось чуть по-другому, чем раньше, и это раздражало режиссеров и партнеров. Я понимал, что могу нарушить целостность ансамбля, но ничего не мог с собой поделать. Ведь я мог сначала репетировать роль, а потом сыграть только в том случае, если сам исчезал, а во мне возникал тот, другой, которого я должен был сыграть. И очень боялся этого другого, потому что он был неизвестен мне и имел надо мной непонятную власть. Словом, он был не я, Смоктуновский, он был другой.

— Это опять-таки началось на войне... Я какое-то время находился в похоронной команде. Мы собирали по полю боя трупы погибших, свозили к братским могилам. Представляете, дело было летом, жуть несусветная, запахи, мы орудовали крючками на длинных палках, загружали конные фуры. Трупы укладывали штабелями, друг на друга. И вдруг из этой груды, из самой ее середины, раздался страшный стон и такой вот глубокий выдох: уа-а-ахх! Мы все, вся команда, бросились к фуре и стали стаскивать тела на землю, чтобы добраться до того, кто застонал. Мы думали, что он живой, и каждый представил, наверное, себя на его месте. Страшнее этого ничего не бывает. Это страх живым оказаться среди мертвых. Быть заживо похороненным. Оказаться среди мертвецов и остаться там безвозвратно, без всякой надежды вернуться к жизни. Мы высвободили из груды трупов этого человека, он еще раз сделал выдох через страшно разинутый рот — уа-а-а-хх! — и замер неподвижно. Это был такой же мертвец, как и остальные, но у него, видно, газы внутри накопились, и они вырвались наружу через глотку. И в ту секунду, Толя, я почувствовал, что во мне вдруг как будто умер я сам, а возник вместо меня тот, который на самом деле был мертв, но вздохнул как живой.

Я не знал, кто он, но он был во мне. Настал момент перевоплощения. Это было первый раз. Было очень страшно, но именно этот страх моего собственного умирания приводил меня к перевоплощению в другой образ. Я начинал жадно жить в этом образе, и никто — ничья воля не могла сбить меня с пути.

С режиссерами бывали страшные конфликты. В «Гамлете» Козинцев отказался репетировать со мной, и я репетировал самостоятельно на дому с режиссером Розой Сиротой, и на площадку приносил готовое решение. О результатах вы имеете представление. Не знаю, многие ли актеры могли умереть сами, чтобы ожить в роли, но я это мог. И это была та моя плата за гениальность, о которой говорите вы, говорили другие. И когда это случалось, я железно стоял на своем и, как правило, выигрывал.

В Малом театре на «Царе Федоре Иоанновиче» был такой случай. Один заслуженный артист терпеть не мог меня, не здоровался даже со мной, люто ненавидел, — он играл боярина, а я царя. По ходу спектакля в одной сцене он должен был подавать мне реплики — и это делал, повернувшись спиной ко мне, да еще и сидя на пандусе декорации! Это что же? Боярин царю подает реплики, сидя спиной к нему! Я обошел его, встал напротив, размахнулся и влепил ему здоровенную оплеуху. Он живо вскочил и уже подавал реплики как подобает... И зритель ничего особенного не заметил, наверное, подумал, что так и надо.

А в другой раз на этой же пьесе царю Федору сообщают об убийстве царевича. Мне стало дурно. В голове закружилось, я стал падать... Так вот ведь что — никто из моего царского окружения не подхватил меня, и я со всего своего роста грохнулся затылком на сцену. А ведь рядом стояли бояре, рынды и моя благоверная Аринушка! Никому из них не пришло в голову подхватить царя, потому что все они были не в том мире, где был я, царь Федор Иоаннович, а на маленьком пыльном пятачке сцены. И думали не о том, как бы помочь царю, а о том, что скоро спектакль кончится, они выйдут на поклон, затем быстро снимут грим и разойдутся по домам.

Мы поехали дальше, и я уже не помню, какие еще важные откровения услышал в дороге от своего крестного. Это была моя первая с ним поездка, и впервые мне пришлось столь долго общаться со Смоктуновским наедине. Та далекая зима — не важно, какого года XX века, — была для меня чудодейственной, а я и не догадывался об этом.

Я как-то и не задумывался, что встреча с ним на лестничной площадке хрущевской пятиэтажки, на четвертом этаже, и крещение мое через семь лет, и поездка вместе с ним в Суздаль — это части единого Явления. Но тогда — кто же такой я сам, чтобы мне в деревне Немятово глухим ноябрем в убогой избенке явился сам Спаситель? Кто я такой, чтобы ко мне в дом вошел Смоктуновский, божественный актер, гений истинный, богоявленный? Вот ведь как получается — должно быть, и я такой человек, которому божества являются в ту минуту, когда он должен вот-вот погибнуть. Смоктуновский был в самом пекле фронтового ада, в гуще кровавого месива человеческих тел, разрываемых в куски чудовищными рваными тяжкими осколками снарядов и мин, наполненных стальной смертоносной начинкой, дьявольскими осами, укус каждой из которых способен оставить сквозную пробоину размером с кулак в человеческом теле или снести полголовы. Какой заслон мог быть поставлен пред мягкой трепещущей юношеской плотью, чтобы уберечь ее от пулевого удара или осколочной пробоины? Да никакой! Только Божий покров, невидимый, непроницаемый, способен был скрыть тело будущего гения от алчных взоров смертоносных ос воинства Сатаны. А лично я, спасенный Смоктуновским, я, пропадая от безнадежности и тоски в беспощадной Москве, был спасен, стало быть, тем же покровом. Накрыт краем того же боевого волшебного плаща, которым укутал его Господь на войне — от проникновения холодного оружия, от прожжения раскаленной пулею и от пробития тяжким ударом рваного осколка. Миллион их пролетело мимо нашего Гения, ни царапины не оставив на его теле. Множество роковых стрел пролетело и мимо моего одинокого отчаявшегося сердца, ни одна из них не попала в него.

Мы с Иннокентием Михайловичем пошли ужинать в ресторан туристического комплекса, в котором занимали секцию с гаражом. Смоктуновский с явным удовольствием влез в длинные серые валенки деревенской валки. В вестибюле ресторана навстречу выдвинулся и встал перед нами швейцар, высокий седой дядька в ливрейном мундире и черной фуражке с галунами. Окая по-владимирски, он строго стал отчитывать Смоктуновского:

— Ты пошто в валенках сюда приперся?

— А нельзя? — взвился было Смоктуновский.

— Чай, в ресторан пришел, не в кабак.

— Не пускаете, значит, в валенках?

— Неуж пущу! Поди сперва культурки наберись, деревня!

Тут уж я рванулся в бой:

— Да ты знаешь, кто перед тобой, дядя? — начал было я.

— Постойте, Толя! Не надо, — остановил меня Иннокентий Михайлович. — Я лучше схожу переобуюсь, а вы подождите.

И Смоктуновский поспешно удалился, а я, кипя от возмущения, стал вразумлять щвейцара:

— Как тебе не стыдно, дядя! Это же артист Смоктуновский!

— Полно врать! Артисты в валенках по ресторанам не бегают! — железобетонно окая, стоял на своем швейцар. — Ты поговори! А то и тебя не пущу!

— Меня-то за что?

— А за то... Пьяных не пущаю!

— Это я пьяный?

— Пьяный в лоскуты. Пиши заявление.

Я чуть не лопнул от возмущения. Во-первых, я не пью, во-вторых, с чего он решил, что я пьян? Может, с мороза у меня слишком красное лицо? Я потрогал ладонью щеку... Вскоре вернулся Смоктуновский. Он был в черных штиблетах. Как прошел в них по глубокому снегу? От ресторана до кампуса пройти надо было немалое расстояние через широкий, не очень хорошо освещенный двор... Смоктуновский остановился перед швейцаром, приподнял за штанины брюки, склоняя голову из стороны в сторону, стал любоваться на свои ноги в сверкающих штиблетах.

— А так хорошо? — спросил он.

— Так другое дело! Проходите! — разрешил дядька и величаво отвалил в сторону.

Мы недурно поужинали, уха и котлеты были хороши, Иннокентий Михайлович позволил себе рюмочку. И после ужина за чаем наш разговор, начавшийся в дороге, продолжился.

— Когда я бежал из колонны пленных, меня спасла одна женщина, пожилая хохлушка. Я простоял под мостом до самого вечера. Колонна уже давно прошла, а я все не решался вылезти из укрытия. Ох, вот когда мне стало по-настоящему страшно. Неужели удалось бежать? Неужели свободный? А вдруг они стоят на мосту? И снова схватят, вернут? Нет, они и возвращать не станут, а хлопнут сразу на месте. Ночью появилась луна, стало все видно на снегу. Недалеко от моста была деревня, несколько домиков. Оттуда появилась женщина с коромыслом и ведрами, подошла к проруби, недалеко от моста. Стала черпать воду. Я ей громким шепотом: «Тетенька, не бойся! Я русский!» Она ничего не ответила, не посмотрела даже в мою сторону. Потом чуть заметно махнула рукой и ушла, с ведрами на коромысле. Я ее понял и стал ждать, по-прежнему не выходя из-под моста. Нескоро, ох нескоро она вернулась! Когда все огни в деревне погасли. Луна круглая уже на другом берегу реки оказалась. Тетка прошла берегом до моста и, не спускаясь, сказала негромко: «Як мисяц за тучку зайдэ, швыдко беги вителя до крайней хаты».

Так я и сделал, выбрался наверх, когда стемнело, и по дорожке пробежал до деревни. Тетка меня встретила на углу и завела в дом. Простая женщина, хохлушка. Простые люди добрые, Толя, чем проще, тем добрее. Она уже нагрела в ведрах воды, налила в цинковую лохань, заставила меня скинуть всю одежду, сгребла ее тут же и вынесла куда-то. У меня от дизентерии одежда была вся нечистая, я весь был нечист, и вонь шла от меня страшная. Но тетка и виду не подала, усадила меня в горячую воду, стала намыливать мне голову. А я сразу так разомлел, что стал засыпать в ванной. Силенки кончились, я не мог даже мочалкой тереть себя. Но тетка меня вымыла, дважды воду поменяла, потом достала мне чистую рубаху и кальсоны. Усадила за стол и дала совсем небольшой кусочек хлеба и маленькую беленькую кружку молока. «Хлопчик, тоби много исты нэгоже. Заворот кишок будэ», — говорила она. Я мигом проглотил еду, но голод в животе как был, так и остался, казалось, что еще больше усилился. Тетка отправила меня на теплую лежанку русской печки, не погасила лампу и сама куда-то вышла. Я лежал и чуть с ума не сходил от того, что где-то близко пахло теплым хлебом! Я свесил голову с лежанки и стал нюхать. И тут увидел, что на полатях, под потолком, лежат несколько круглых караваев, накрытые полотенцем. Не помню уже, как это получилось, но я кинулся с лежанки на полати, схватил каравай и впился в него зубами. При этом не удержался на печке и свалился вниз вместе с хлебом. Прибежала хозяйка, стала отнимать у меня хлеб — заворот кишок, заворот кишок! — и мы стали драться. Но эта хохлушка была крепкая, сильная, она без труда справилась со мной, отняла хлеб. Я сидел на полу и плакал. Что-то я успел уже съесть, и еще сказалась борьба, но я почувствовал, что у меня начинается беда с желудком. Я быстро надел обрезанные валенки, что стояли у печки, схватил на ходу со стены полушубок и выскочил из дома. За углом присел под завалинкой — и плачу, рыдаю, остановиться не могу. А прямо мне в лицо светит огромная луна. Рыдаю, а вместе с рыданьями с обратной стороны вылетает все то, что я успел съесть. Вы знаете, Толя, я сидел в сугробе и плакал так горько, как плачут, наверное, младенцы, когда голодны и им не дают молока из материнской груди. Я рыдал и плакал еще и потому, что понял: теперь-то буду жить... Эта женщина прятала меня долго, пока я не выздоровел, потом ее родственник отвел меня в лес к партизанам.

— Так вы еще и партизанили! — поразился я. — И сколько времени?

— Это было не так долго, скоро подошла линия фронта, наш отряд влился в регулярную армию.

После поездки в Суздаль, когда Смоктуновский впервые рассказывал мне о своем военном прошлом, о плене и побеге из плена, у нас как-то не заходил разговор на эту тему, и я ничего не узнал, какова была фронтовая жизнь Смоктуновского в продолжении двух лет наступления нашей армии через Европу до Берлина. Неизвестно мне, как проходила его срочная служба в Германии после победы. Но я, сам прослуживший в армии три года, могу уверенно говорить, что реальная армейская жизнь отнюдь не приближает человека к Богу, и все божественное, заложенное в нем, дисциплинарно наказуется, если вступает в конфликт с воинскими уставами. И тому высочайшему, трепетному, тончайшему душевному состоянию многих его персонажей из кинофильмов и спектаклей, покоряющей власти смоктуновской духовной эманации, явленной через актерскую игру, — не могу найти корней в его реальной биографии. Она была груба, сибирское детство немилостиво, отец буйно пил, дрался в семье, с шестнадцати лет на войне, два года фронта и еще три — служба на чужбине, в оккупационных войсках... Откуда взялись те высокие, тончайшие энергии духа, которые покорили весь мир? В Англии он был признан луч-

шим исполнителем роли Гамлета за все времена. В Японии, на представлении «Чайковского», в котором он сыграл одноименную роль, зрители во всем огромном зале пали на колени, когда Смоктуновский вышел на сцену. Рассказывая мне об этом, он не без юмора добавил: «Я не ожидал этого — и совершенно непроизвольно сам тоже брякнулся на колени. Японцы на это отозвались дружным смехом, потом встали и очень долго аплодировали»...

Однажды в добрую, как мне показалось, минуту я спросил о том, какое значение в его жизни и творчестве имели для него те прекрасные женщины — актрисы, такие как Анастасия Вертинская, Алла Демидова, Маргарита Терехова и другие красавицы, с которыми ему приходилось играть в кино и на театре и соприкасаться в жизни. Но минута оказалась вовсе не доброй для меня, и я получил щелчок по носу.

— Никогда, Толя, никогда, вы слышите? — не задавайте мне подобных вопросов. Я не желаю ни с вами, ни с кем бы то ни было разговаривать на эту тему.

Мне стало стыдно до высокотемпературного жара на скулах, до слез жгучего стыда, я не мог найти слов оправдания и только пролепетал еле слышно: «Извините, крестный...» Представил себе тысячу японцев, бросившихся на колени перед ним, — и испытал в душе вторую, возвратную, волну стыда.

Здесь я должен сказать, что за двадцать лет близкого общения с ним он ни разу не обратился ко мне иначе, чем на «вы». Возможно, это говорит о том, что он не чувствовал дружественной близости ко мне, ведь я был намного моложе его. И вообще, дружбы как таковой между нами не было, как не было и никакой живой почвы, на которой она могла бы возникнуть... Ну и как при этом я мог задать ему вопрос о его отношениях с красавицами?

Но прошло не очень много времени, возможно, всего дня два-три, мы вернулись с зимней прогулки, в мотеле крестный вскипятил электрочайник и сделал горячий чай. И вдруг он сам, совершенно неожиданно для меня, стал рассказывать.

— Из Красноярска я через год поехал в Норильск, Заполярный круг, там были двойные северные ставки, а мне хотелось заработать, приодеться. К тому же я купил фотоаппарат и стал фотографировать детишек в детсадах, приработок был неплохой. Норильский театр оказался очень хорошим, там работали ссыльные режиссеры и актеры из Москвы и Ленинграда. Там я с Георгием Жженовым встретился. В общем, все было хорошо, — в Норильске я и прошел настоящую актерскую школу. Но вы знаете, Толя, было так холодно! И вот порой намерзнешься, наголодаешься — и какая-нибудь актриса сжалится и пустит к себе... Вдруг крик возмущения: «Ты что это молоток суешь?» — Какой молоток? Никакого молотка! Это у меня с голодухи так получалось. — Я с великим удивлением посмотрел на крестного. И впервые заметил, что передо мной крепкий, сильный, пролетарски здоровый жилистый мужик, а не расслабленный рефлектирующий интеллигент, каких порой изображал Смоктуновский.

Нет, мы не были и не могли быть близкими друзьями, слишком большая разница в возрасте и несовместимые социальные весовые категории, и весьма отдаленные друг от друга ареалы профессионального существования... Но ни с кем другим, как мне известно, он не ездил на отдых вдвоем — был Смоктуновский человеком достаточно сложным для личного общения и закрытым. Так почему я? Ведь видных друзей и близких возле него было великое множество, тех, которые запросто называли его Кешей. И все же внимание его ко мне было бесконечно добрым, особенным. И он крестил меня. Я никогда раньше не задумывался над тем, почему из всего большого людского окружения, тяготеющего к его знаменитой личности, он одарил меня своим особенным добрым вниманием. Я просто радовался возможности человеческого общения с ним.

Зимой ли это было — встретились мы однажды в старом метро «Арбатская». Его жена и дочь, и я вместе с ними, шли, только что выйдя из вагона, вдоль привычно жутковатого провала путей метрополитена по малолюдной платформе. И он, одиноко стоявший на балконе, издали заметил нас и, воздев над головой руки, стал делать бурные жесты. Его жена и дочь были, видимо, привычны к подобному и шли молча, безответно, лишь радостно, снисходительно, одинаково улыбались. Я же заразился энтузиазмом и тоже вскинул руки в приветственном семафоре... В ответ он что-то такое сотворил со своими руками и вздернул их еще выше, так что торчавшие из рукавов куртки длинные кисти заметались уже под самым потолком станции подземки.

В это время с тылу к нему подступил откуда ни взявшийся милицейский служитель, он приблизился вплотную и стал внимательно наблюдать, не кроется ли за этими странными маханиями каких-нибудь преступных намерений. Он, вообще чуткий интуитивист, ощутил на спине чужой взгляд, мгновенно насторожился, медленно опустил руки. Затем резко через плечо оглянулся и на секунду замер — испуганно, как мне показалось, уставившись на стража порядка. Но спустя эту самую секунду, отвернувшись от милиционера, Царь замахал еще усерднее. Однако в его движениях уже не было чистоты непроизвольной импровизации, и чувствовались некое принуждение и скрытый вызов гордого духа: нате-с, я вот так еще махну и вот этак...

Милиционер молча понаблюдал за ним и ушел, не придравшись, с миром унес свой покатый служебный живот. И уже вскоре мы встретились с Иннокентием Михайловичем на площадке переходного балкона. И я, в качестве добровольного провожатого и конвоя, «сдал» ему его женщин. Почему я оказался в тот поздний час с ними — не столь важно. Я проводил их по его просьбе. Он ушел, радостный и светлый, с двух сторон подхваченный женою и легконогой, высоконькой дочерью.

В этот день с утра мы ездили на машине по расчищенным дорогам вокруг Суздаля. Стоял солнечный день с небольшим морозцем. Ярко-белый снег, голубое небо, редкие светлые облака в широком небе, белые освещенные солнцем стены попутных храмов. К одному из них Смоктуновский подъехал как можно ближе, снял шапку, выскочил из машины и побежал к воротам. Храм был закрыт, вход заколочен, по всем признакам он был недействующим, как и большинство храмов по России в то время. Смоктуновский по глубокому снегу подбежал к боковому приделу и приложился к белокаменной стене.

Когда мы поехали дальше, через дорогу перебежала стая белых куропаток. Они, видимо, машин не боялись и довольно близко подпустили нас.

— Смотрите, смотрите! Видите? — закричал я, указывая рукой.

— Что за птицы? Голуби?

— Да куропатки это, Иннокентий Михайлович!

Лицо его расплылось в умильной улыбке.

— Куропаточки! Такие славные!

Он остановил машину, и мы стали смотреть на то, как стая бегом строчит через белое поле. Иннокентий Михайлович вылез, стараясь не стукнуть дверцей, со своей стороны, но куропатки тут же с шумом снялись и полетели прочь, свистя крылами...

Он стоял на морозе, без рукавиц, без шапки и смотрел вслед улетающим птицам с таким сожалением, даже болью в глазах — что совершенно не связывалось с обыденными реалиями: зимняя дорога, сверкающий белый снег, улетающие птицы... Стая отлетела не так уж далеко, снова бухнулась на снег и потекла дальше темной строчкой...

Он спокойно говорил: «Я гений». Многие его работы в кино и особенно на театре бесспорно были гениальными. Но человек Смоктуновский никак не смотрелся гением. Гением смотрелись его Гамлет, Чайковский, Иванов, Царь Федор, Иудушка Головлев, Скупой Рыцарь... Я все это видел, все эти его работы, этих людей, в кого он перевоплощался. Но я видел также на протяжении двадцати лет конкретного человека, и ничего «гениального» в нем не заметил. Он был для меня простой, добрый, искренний человек. Мой крестный. Он был понятный. Близкий мне тем, что в общении со мной не скрывал шероховатостей своего характера, не умалчивал и о том, какие слабости просматривал у меня.

Когда вышла первая моя книга в издательстве «Советский писатель» — в 1976 году (три года спустя после явления Смоктуновского в мою жизнь), я устроил домашнюю презентацию у себя на Академика Павлова, 36. На праздник всей моей жизни я пригласил Смоктуновского, соседей Горшманов, также и Владимира Германовича Лидина, своего учителя по Литинституту (он писал записку в редакцию «Советского писателя», по которой мою рукопись там и приняли во внимание), редактора отдела прозы, несколько моих друзей. Гости именитые и не очень, но все близкие мне. И вот на этом своем главном празднике я не заметил как, но напился. По природе своей мой органон не воспринимает алкоголя, от пары рюмок водки я могу уснуть прямо за столом. В тот раз я пошел кого-то проводить до метро, а потом возвращался, классически пошатываясь из стороны в сторону, и это мне почему-то очень нравилось. А у своего подъезда я сел на скамеечку передохнуть и отключился. Проснулся я от того, что кто-то сильно тряс меня за плечо. Передо мной стояли, интеллигентно глядя на меня, старенький профессор Лидин, рядом с ним Иннокентий Михайлович. Других я и не заметил, потому что понял: я пропал. Опозорился как последний сукин сын. Но честная публика, собиравшаяся уехать на «Москвиче» Лидина и на «Волге» Смоктуновского, довольно добродушно попрощалась со мной, расселась по машинам и отбыла, оставив меня одного умирать у подъезда, с мутной головой и позором на душе.

В следующий раз, встретившись со мной, Смоктуновский говорил непривычно для меня сдержанно, строго, серьезно:

— Никогда больше не пейте, Толя. Вы это не умеете, вы можете не только попасть в неприятности, но и в настоящую беду. Потому что вы слабый, а слабым пить нельзя!

— Почему же это я слабый? — самолюбиво покривился я. — Я не считаю себя слабым.

— А я считаю себя слабым! Никто не должен считать себя сильным. Потому что все на самом-то деле слабые. Нет таких — сильных, а те, что считают себя сильными, — как раз самые слабые. У тех, кто считает себя сильными, надо брать то, что тебе хочется. Но это не так просто! Потому что эти слабые — сильные мира сего еще и очень хитрые и жадные. Им хочется все себе забрать, другим не давать, самим владеть, им там, наверху, хорошо, они никого не желают пускать в свой круг. И вам надо научиться правильно вести себя, Толя, чтобы они подпустили вас к себе.

— А может, и не надо этого?

— Надо, Толя. Вот вас десять лет не хотели печатать. Почему? Потому что вы плохо написали? Нет, у вас замечательные рассказы. Талантливый, высокий язык. Но вы были не из того круга, понимаете? Я принес ваши рассказы в журнал и сказал: вот вам гениальные рассказы, читайте. И в тот же вечер из редакции звонят мне и, вырывая трубку друг у друга, благодарят. Сначала я подумал, что благодарят за мои статьи, которые в тот же день приносил им, но потом понял, что они за ваши рассказы благодарят. Вот видите, когда вы сами носили их по редакциям, никто ведь не хотел принимать.

— Но вы все равно рисковали, Иннокентий Михайлович.

— Как видите, нет. Надо вам и самому так действовать. Вы можете никому ничего не говорить, но должны сами знать, что ваша работа гениальная, — если она на самом деле гениальная. Потому что вы этого только и хотели, ничего другое вас не устраива-

ло, и вы добились наконец своего. С этой уверенностью вы и заходите в редакцию, ничего не говорите, молча кладите рукопись перед редактором. Смотрите спокойно на него. И все время помните, что работа ваша хороша. Очень хороша! Там, наверху, ничего не понимают в том, какая наша работа гениальная, какая нет. Их надо убедить в этом, им же ведь все равно. Так же у них не дрогнет душа, когда перед ними предстанет настоящий шедевр. А уже на самом верху попросту не понимают, что такое шедевр. Конечно, некоторые могут даже поговорить о музыке или даже вмешаться в творческий процесс, одним пальчиком наигрывая на рояле. Могут дать другое название «Жизни за Царя». Могут посоветовать самой Плисецкой как-то поприличней раскрывать ноги. Это самоуверенные люди. Только вот, к сожалению, от них-то и зависит, жить нам с вами или не жить, получать награды и почести или в Сибирь, в глушь в Саратов, на Кавказ, на Колыму. Вы бы видели этих... «из самых верхов». Кожа на лице гладкая, как натянутая, сразу видно, что кушают они только самые лучшие продукты, каждый волос на голове, каждая морщина на лбу тщательно промыты. И сразу видно — они живут лучше всех остальных, и им хочется всегда так жить. Вы понимаете, Толя, что все эти верхние — это из самых отчаянных мещан, им до наших шедевров никакого дела нет. Поэтому, дружочек, вы не должны стесняться и брать от них все, что возможно. Это не так просто, они всякие блага и награды дают не за шедевры, а за свою любимую рыбку, которую хотят скушать. Вот вы и должны их перехитрить — закинуть удочку, на крючок насадить что-то похожее на такую рыбку. И когда клюнет — вы раз! — подсекайте свою добычу! Впрочем, что это я вам говорю всякие непонятные вещи. Вот скоро в газете «Правда» выйдет моя большая статья, прочтите ее и все поймете. А я через некоторое время получу Госпремию...

Действительно, Смоктуновский через некоторое время получил Госпремию. А статью я читал — не дочитал... Он получил и Ленинскую премию, и Героя Соцтруда, и другие самые высокие премии и награды... Может быть, он и был прав, говоря об удочке и наживке, но совершенно не убедил меня в том, что его гениальные работы в кино и на театре явились приманкой, наживкой для удачного ужения Большой рыбы. Он сыграл в одном фильме роль Ленина, возможно, она и была «наживкой», но в то сложное время, насквозь пропитанное миазмами идеологической лжи и лицемерия, это была не самая отвратительная наживка, использованная умелым Рыбаком. В те времена поймать Большую рыбу гениальному художнику было весьма сложно, Иннокентий же Смоктуновский ловил и зацепил не одну рыбину.

В связи с получением Госпремии, или по случаю другого триумфа, Смоктуновский давал банкет в гостинице «Россия». Пригласил и меня, но не обычным существующим способом — присылкой заранее пригласительного билета, а телефонным звонком прямо в день банкета:

— Приезжайте ко мне, и мы поедем с вами на одно славное мероприятие. Оденьтесь понаряднее.

Я никогда раньше в этой колоссальной гостинице не бывал, да и после, вплоть до знаменитого пожара и снесения ее, был всего пару раз на каких-то торжественных мероприятиях. Смоктуновский привел меня в огромный банкетный зал, где были уже накрыты столы. Его узнали, подошли какие-то официальные гостиничные служители, крестный немного «покувыркался» с ними. Затем повел меня вокруг столов, как бы осуществляя осмотр и степень готовности праздничного парада. Закончив обход, он пригласил меня присесть рядом с ним на конце стола:

— Давайте, Толя, закусим заранее. А то начнется торжество, и я так и не смогу нормально покушать. Начнутся тосты, объятия.

— А можно так? — оробел я.

— Думаю, что можно. Никто нам ничего не скажет. Ведь я хозяин сегодня.

И как же он оказался прав! Когда через некоторое время показались в дверях гости, повалил густой звездопад самых маститых знаменитостей отечественного кино — Ефремов, Табаков, Мордюкова, Терехова, Глебов и т. д. — крестный упорхнул навстречу им, стал частью грандиозного звездопада. И я, совершенно ослепленный его нестерпимым сиянием, не заметил того момента, как потихоньку покинул триумфальный зал и уехал домой.

Но сколько бы раз потом ни видел Смоктуновского на всяких торжественных мероприятиях, никогда не висело на его пиджаках сверкающего иконостаса наград. После его смерти Суламифь показала мне обувную картонную коробку, в которой Иннокентий Михайлович хранил все самое дорогое для себя. В коробке было много чего, но я запомнил две вещи: солдатскую медаль «За отвагу» и пожухлую фронтовую газетку времен войны, в которой была напечатана статья «Подвиг ефрейтора Смоктуновича». В ней рассказывалось о том, как он со своим отделением переправился через реку и, закрепившись, долгое время удерживал плацдарм.

Я уже не помню, при каких обстоятельствах Смоктуновский говорил мне:

— Если я почувствую когда-нибудь, что самое лучшее уже сделано и что отсюда вот сюда уже больше ничего не поднимается, — он сделал такой жест: составленные ладонями вверх руки, прижатые к животу где-то у солнечного сплетения, поднял к самому горлу, отчего плечи его пошли изломом кверху, — я не стану стреляться или вешаться, а просто буду спокойно зарабатывать деньги. Деньги еще никому не помешали, денежек лишних не бывает, и чем больше их у тебя, тем спокойнее на душе.

— А в моей деревне Немятово мужики говорили: всех денег не заработаешь, — ответил я ему. — Сколько принесешь домой на ляжке, то и гожó.

— На ляжке? — удивился он.

— Мужики немятовские были потомственные плотники-отходники. Они осенью уезжали в отход, в другие края, строили там, а потом, к весне, возвращались домой с заработком. Деньги хранили в кармане штанов, зашпиливали булавками. Вот и говорилось: принести на ляжке.

— Я их понимаю и тоже считаю, что сколько заработаешь, то и гожо. Вы не подумайте, что я жаден к деньгам. Мне доставляет удовольствие их зарабатывать. Вот моя Соломка (его жена Саломея, Суламифь. — *А. К.*) ругает меня, что я часто соглашаюсь выступать где-нибудь в Доме культуры, мол, зачем губить здоровье за какие-то гроши. А когда вернусь домой, спрашивает: сколько?

Однажды пришлось видеть уморительную сценку. Иннокентий Михайлович заехал к своей теще сразу после расчета на киностудии. Дело было зимой в декабре. Он был в просторном свитере с широким воротом. На столе лежал целлофановый мешочек для продуктов, — с запечатанными банковскими пачками в крупных купюрах. Смоктуновский одиноко сидел за столом на кухне, мы с Широй Григорьевной стояли в дверях, на пороге, заглядывали из коридорчика, изображая зрителей. Иннокентий же Михайлович сидел, пригорюнившись, с наигранной тоской смотрел на мешочек. (Я замечал, что он почему-то деньги и какие-то документы носил в целлофановых мешочках.) И вдруг изрек: «Ну, все, ребята. В этом году денег уже больше не будет».

Впервые за границу мне пришлось ехать в Болгарию, где вышла моя книга в переводе на болгарский. Смоктуновский, который отдыхал там довольно долго по приглашению главы социалистического государства Болгария, посоветовал:

— Возьмите побольше денег. Там много хороших товаров, дешевые дубленки, кожа, чудная обувь. Привезете своим девочкам подарки.

— Но разрешено вывозить только двести рублей.

— А вы возьмите больше! Только спрячьте на самое дно чемодана, знаете, вот так — горизонтально. — И он с ликующим видом удачливого контрабандиста, сверкая лазурными глазами, опять показывал характерным жестом своих сверхвыразительных рук, как надо укладывать на боковое дно чемодана контрабандные купюры.

— Но у меня и денег больше нет! — попытался я увильнуть.

— А я вам дам! Можете после вернуть.

И Смоктуновский полез на книжную полку, встав на стул, и достал из-за какой-то книги пачечку денег. Он отсчитал пять сотенных и протянул мне щедрым жестом. И я, разумеется, не посмел отказаться, деньги взял, но, придя домой, перепрятал всю пачечку в свою секретную книгу. Возвратившись из Болгарии, я тотчас вернул деньги крестному.

В загадочной теме «гений и деньги», а конкретно — Смоктуновский и деньги — я разбирался мало, видел только то, что видел, и эти эпизоды, происходившие на моих глазах, были скорее забавными, чем поучительными. Как-то зашел я к соседям Горшманам и застал там за каноническим в те советские времена кухонным столом Смоктуновского и какого-то крепкого молодого человека. Вид у обоих был неспокойный, напряженный. Смоктуновский натянуто улыбался, но это был отнюдь не его «кувыркающая» улыбка. Молодой человек не улыбался, но был сердит, взъерошен, с красным лицом. Иннокентий Михайлович ядовито-ласковым голосом говорил:

— Ну что скажешь, брательник, хорошо тебе? Приехал, живешь на всем готовеньком, да еще и машину купил задешево, дешевле и не бывает. А ты знаешь, за сколько я ее мог бы продать? То-то же...

Как я впоследствии понял, Смоктуновский продал родному брату старую машину «Волгу», себе брал новую, модернизированную, из самого Горького. А шуточки с братом, коих я был свидетелем, были отголоском каких-то былых, чуть ли не детских, взаимоотношений братьев.

История с его новой «Волгой», самой престижной советской машиной для того времени, оказалась драматичной, едва ли не трагичной. Смоктуновскому, как герою фильма «Берегись автомобиля», создавшего лучшую рекламу для этого автомобиля, Горьковский автозавод прислал прямо с конвейера новую машину. И вот счастливый хозяин поехал от своего дома, куда доставили на автоплатформе «Волгу» в смазке, выехал на проезжую часть — и тут сорвался незакрепленный карданный вал, передним концом ударил в асфальт, пробил днище и чудом не покалечил водителя. Скандал этот был улажен быстренько — на следующий день из Горького доставили другую новую машину, причем сопровождал ее сам директор Автозавода, самолично приехавший с извинениями. И должно быть, для машины с конвейера была сделана солидная скидка, к вящей радости Иннокентия Михайловича.

Считать его жадным к деньгам — в теме гений и деньги — было бы попросту глупо. Смоктуновский получил все самые крупные премии государства, многие зарубежные премии, все высшие награды страны, получил квартиры в Ленинграде, в Москве. У него была дача, была семья, жена, двое детей. Но как же так случилось, что к концу жизни он едва ли не оказался в нужде? Правда, было такое время очередной глобальной катастрофы России, когда все в стране, кроме проходимцев, рвачей и жуликов, вмиг впали в нищету. Работяга крестный мужественно боролся с невзгодами, хватался за любую работу, шел на любой проект, нравилось это ему или нет. У него было изношенное сердце, слабые глаза, головные боли, сильно расшатанная нервная система, но он работал, не жалея себя, зарабатывал на семью в окаянную пору перестройки социализма в капитализм и предательской капитуляции коммунистов в России. Смоктуновский умер, оставив семье какие-то деньги, немалую часть которых украл у них жулик-скульптор, обещавший изготовить памятник на могилу великого артиста.

За год до его смерти я приезжал в Москву из Кореи, где работал по контракту в университете. Были летние каникулы, я заехал к крестному. В его огромной квартире было много пустого пространства и мало уюта, — какое-то безликое жилище, обставленное незапоминающейся мебелью. Я пришел к крестному с новой женой, с которой бракосочетался в ЗАГСе, расположенном в том же доме, где была последняя квартира Смоктуновского. Вот опять судьбоносное совпадение, — уже которое! Иннокентий Михайлович приходил на церемонию бракосочетания и даже снял ее на свою видеокамеру, сопровождая запись комментариями, произнесенными знаменитым смоктуновским голосом... Но на свадьбу он не пошел и к себе после церемонии в ЗАГСе не пригласил, хотя это происходило едва ли не в соседнем подъезде. Его жена, дружившая с моей первой женой Зоей, не желала принимать меня с новой супругой. А он сочувствовал мне и как-то по-доброму, грустно смотрел на мое счастье — женитьбу пятидесятилетнего писателя на тридцатилетней поэтеске. И вот мы с этой поэтеской заявились к нему теперь прямо из Сеула. Он был дома один, повел нас на кухню, и там, смешно хлопая ладонями себя по бокам, быстро — весело заговорил:

— Вот, ребятки, чаем бы надо вас угостить, но чаю-то нет и ничего нет. Соломка поехала куда-то чего-нибудь добыть на другой край города, может быть, что-то и привезет. А возле нас в магазине ничего не найти, ну ничего-ничегошеньки, одна минеральная вода «Ессентуки».

— А нет ли поблизости валютного магазина? — спросил я.

— Валютный-то есть, да валюта вся вышла, ха-ха-ха! — театрально хохотнул Смоктуновский. — А вы что, Толя, при валюте?

— Можем себе позволить такую пакость, крестный!

И мы отправились, где-то недалеко на Второй Тверской-Ямской зашли в незаметный с улицы валютный магазин. И там начался спектакль одного актера — и этот спектакль видел только я, и мне грустно вспоминать его, тем более что всего через год после этого Смоктуновский умер, шестидесяти девяти лет. Он бегал от полки к полке, набирал в корзину банки, пакеты, коробочки в ярких упаковках. Он изображал ошеломленного невиданными возможностями счастливца, которому неожиданно выпала великая удача.

— О, кофе! Натуральный, бразильский. Можно я баночку возьму? А можно две? Вот сыр... о, швейцарский сыр! Сыр я тоже люблю, ребята. Можно, возьму двести грамм? Что? Четыреста? Да вы что, Толя!

— Иннокентий Михайлович, берите четыреста, ведь на семью берете.

— Ах, Толя, вы очень-очень щедры! А можно еще буженинки возьму?

— Конечно, крестный.

— А вот белорыбица отварная. Рыбку я тоже люблю. Можно?

— Берите рыбу.

— Нет, Толя, вы чересчур щедры!

— Дорогой крестный, ну, не мучайте меня! Берите все, что вам хочется, только не благодарите!

— Но уже долларов на двести набрали!

— Ничего, справимся!

Вот такой был спектакль, в главной роли — великий Смоктуновский. К тому времени я уже обладал абсолютным пониманием того, что Смоктуновский гений. Что он будет вечно жить, как живут Ван-Гог, Сезанн, Модильяни. Но вот одно — знать, что мой крестный такой же гений, небожитель, как и они, и другое — покупать ему отварную севрюгу и буженину! Две реальности никак не схлопывались. Какой же он небожитель, если ты покупаешь ему палку копченой колбасы и банку кофе? Когда контакты этих двух реальностей замыкаются, происходит взрыв огромной силы, в котором сгорают, дематериализуются, уходят в аннигиляцию — и понятие человеческого гения, и вкус отличной московской буженины. То есть, перефразируя поэта, — гений и буженина несовместны.

В далеком прошлом, задолго еще до его ухода в бессмертие, случилась еще одна поездка в Суздаль, также зимой. Смоктуновский взял с собой и сына Филиппа, у того были зимние каникулы в Щукинском театральном училище. На этот раз мы поселились в том же самом мотеле, но бокс взяли на одну комнату больше. Я настоял на том, чтобы кормление мы оплачивали пополам: день платить крестному, другой день мне. Такое решение принял я потому, что Иннокентий Михайлович вначале установил, что утром завтракать в ресторане мы не будем, обойдемся чаем с домашним вареньем, привезенным с собой, и остатками белого хлеба от вчерашнего ужина в ресторане. Крестный встал пораньше и, пока мы с Филиппом еще валялись в постелях, в трехлитровой стеклянной банке согрел кипятильником воду. Заботливо намазав вареньем зачерствевшие кусочки хлеба, он разливал по кружкам заваренный чай, держа в руках обернутую в полотенце стеклянную банку. Мы с Филиппом как завороженные смотрели на его действия, потом переглянулись, я подмигнул ему, и Филипп улыбнулся, широко осклабившись. Заметив это, крестный невозмутимо произнес:

— Ничего особенного. Хлебушек нельзя оставлять. Утром чай, а в обед накормлю вас от пуза!

И действительно, в обед он накормил нас «от пуза». Однако после ужина я и сделал предложение, что на другой день кормлю я, и пусть так и будет дальше — кормежная чересполосица, так сказать...

Вечером, сидя в большой общей комнате, где располагался спать на диване Филипп, мы разговорились, и я почему-то рассказал семейную историйку, связанную с моим отцом. (Отец давно умер, Андрею Александровичу сейчас было бы больше ста лет. Царство ему Небесное!) А историйка была вот

какая. Отец родился в России, куда нелегально перебрался мой дед, принявший крещение, в надежде получить российское подданство и земельный надел. Землю он так и не получил, но у него родилось трое детей, три сына. Безземельный дед батрачил, та же участь ожидала и сыновей, но тут пришла революция в Россию, дед умер, а средний сын Андрей, будущий мой отец, обучился на рабфаке, потом поступил в педагогический институт и, закончив его, стал преподавателем русского языка и литературы. И вот он рассказывал, что в институте среди студентов-корейцев был один «перестарок», человек лет за тридцать, которому очень тяжко давался русский язык. Ему помогали его земляки, на экзаменах писали шпаргалки, засовывали их в самодельные матерчатые тапочки, в которых в тридцатые голодные-холодные ходили студенты-корейцы, — этих «коней» перегоняли ногами под столом к потному от страха студенту-перестарку, которого звали, скажем, Син Пен-Хва. И этот Син Пен-Хва с божьей помощью и помощью друзей закончил институт и вдруг исчез с их поля зрения. А пришел 1937 год, когда всех корейцев репрессировали и перегнали в эшелонных конвоях на землю Средней Азии и Казахстана. Я и родился в Южном Казахстане, в селе русских ссыльных староверов Сергиевке, куда после окончания пединститута был распределен на работу мой отец. Спустя много лет он был направлен на работу — сначала на Камчатку, оттуда на Сахалин — директором корейской школы. И вот в те годы совершенно неожиданно к нему пришло письмо от давно исчезнувшего товарища Син Пен-Хва. Оказалось, что он каким-то невероятным образом очутился в Москве, избежав всеобщей участи репрессированных корейцев 1937 года, и работал в Учпедгизе, издательстве учебно-педагогической литературы! Этот Син Пен-Хва написал отцу, что от имени народного образования бросает клич бывшим своим однокорытникам по пединституту, чтобы они объединили, под его руководством, свои усилия в благородном деле — перевели на корейский язык учебники «Родной речи» для корейских школ, которые были открыты на Сахалине, Камчатке и Курильских островах. Отец готовно отозвался, перевел за зиму, усердно трудясь по ночам, «Родную речь» за какой-то класс и отправил рукопись Син Пен-Хва в Москву. Так же сделали еще несколько знакомых отцу учителей-корейцев. И тут почтенный Син Пен-Хва снова исчез на долгие годы. Сведения о нем получил отец много лет спустя от корейцев — москвичей, с которыми вместе учился во Владивостоке. Они рассказали, что Син Пен-Хва издал под своим именем в Учпедгизе несколько учебников миллионным тиражом и стал сказочно богат. От такого материального преуспеяния товарищ Син Пен-Хва маленько свихнулся, должно быть, потерял чувство реальности, купил в Валентиновке огромную двухэтажную бревенчатую дачу, и когда у него раздавался телефонный звонок, он нетерпеливо, рывком хватал трубку и с невероятно хамским акцентом орал: «Я Син Пен-Хва! А ты кто?!»

Эту забавную историйку я рассказал в тот вечер, когда вернулись из ресторана в мотель. А наутро, проснувшись, я услышал из соседней комнаты, где спал Смоктуновский, его знаменитый голос, произносивший на разные лады: «Я СИН ПЕН-ХВА, а ты кто?»

Проходила небольшая пауза, затем следовало повторно: «Я Син Пен-Хва, А ТЫ КТО?» — снова небольшая пауза, затем хохот, и новый вариант: «Я Син Пен-Хва...»

Это Иннокентий Михайлович по своему актерскому обыкновению утром разогревал голос.

Днем после обеда в вестибюле ресторана к нам подошли две местные девушки, едва живые от робости. Заикаясь, краснея и бледнея, поздоровались со Смоктуновским и представились, что они из Суздальского самодеятельного народного театра. Стало известно, Смоктуновский приехал на отдых в Суздаль, и вот народный театр приглашает его встретиться с актерами. Я подумал: сейчас возникнут сложности, потому что Иннокентий Михайлович как раз и сбежал из Москвы, где его беспрерывно приглашали на всякие благотворительные мероприятия для народа. Но Смоктуновский очень мило, поотечески обласкал оробевших суздальчанок и согласился прийти вечером, после ужина.

Мы пошли втроем, Смоктуновский пригласил и меня с Филиппом. Шли через широкое снежное поле, вдали горели огни центра Суздаля, где должен был находиться театр. Девушки, приходившие отвести нас, убежали вперед, мы вольным строем следовали сзади, и почему-то нам было весело. А мороз был хорош, под ногами звучно скрипел снег. Смоктуновский был в своих излюбленных валенках. Филипп озяб и, ссутулившись, убежал вперед догонять девушек. Мы с Иннокентием Михайловичем стали обсуждать, как ему представить нас с Филиппом.

— А как представить? Ну, скажу, что Филипп мой сын, а вы мой друг.

— Нет, Иннокентий Михайлович, так неинтересно. Вы крупная персона, вы не можете путешествовать без эскорта. Вот давайте мы с Филиппом будем ваш эскорт.

— Как это?

— Мы будем вашими секретарями, — вдохновенно импровизировал я. — Филипп будет секретарь по внутренним делам, а я секретарь по внешним, иностранным, я отвечаю за связи с заграницей.

На том и порешили, весело посмеиваясь, но когда мы пришли в народный театр и нас троих посадили за длинный стол рядком, — Смоктуновского посередине, — и публика с близкого расстояния уставилась на нас восторженными глазами, крестный неожиданно для меня сказал следующее:

— Дорогие друзья, разрешите представить вам моих спутников. Вот слева сидит мой сын Филипп, студент театрального института...

Вот оно как! Сына не захотел «сдавать», а вот как он обойдется со мной?

— Справа от меня мой личный секретарь, друг и сват и кум Син Пен-Хва! — и лукаво скосил на меня глаза.

От неожиданности я глупо захохотал, но спохватился, взял себя в руки и, полуобернувшись к Смоктуновскому, громко захлопал еще не разогревшимися с мороза холодными ладонями. Публика с энтузиазмом подхватила мои аплодисменты. А когда он закончил свое недолгое импровизированное выступление, — и предложил вопросы из зала, сидевший в первом ряду молодой человек, корреспондент местной газеты (как он представился) спросил:

— Можно, я задам вопрос вашему секретарю?

— Задавайте, если вам нечего спросить у меня, — широким жестом указывая в мою сторону, произнес «кувыркаясь» Смоктуновский. В зале смешок.

— Нет, это я... Это мне, — начал, покраснев, смутившийся корреспондент. — Нам стало известно, что у вас скоро выходит книга... Так я хотел узнать, когда выйдет книга...

И тут Смоктуновский, немного растерявшись и чуть даже подскочив на месте, всплеснул своими длинными руками и воскликнул:

— Друзья мои! Я забыл сказать, что мой друг и сват и кум Син Пен-Хва не только мой секретарь, но и великий русский писатель Анатолий Ким!

Тут уж я расхохотался так, что чуть со стула не слетел, и публика, заразившись от меня, тоже захохотала. Не знаю, правда, отчего... А я, наклонившись к крестному, прокричал ему в ухо:

— Ну, вы даете! Если у вас в секретарях великий русский писатель, то кто тогда вы сами? Гений из гениев?

— Ну да, гений! — не моргнув глазом, парировал Смоктуновский, весело глядя на меня.

И тогда я громко ответил корреспонденту:

— Да, великий Иннокентий Смоктуновский не только гениальный актер, но и талантливый писатель. И через два месяца в издательстве «Искусство» выходит его первая книга...

Только тут Иннокентий Михайлович сообразил, что произошел некий прокол, когда он «кувыркался». У него и на самом деле должна была выйти его первая книга под названием «Бремя надежд», рукопись которой помогал выправить ему я. Книга и вышла вскоре, но издатели назвали ее все же побанальнее, спокойнее: «Время надежд». После смерти Смоктуновского она переиздавалась с моим предисловием в 1999 году, под названием «Быть!» — в самом конце прошлого тысячелетия.

Он ушел незадолго до Миллениума-2000. И он не узнал про одиннадцатое сентября 2001 года. Его душа покинула земной мир, в котором я все еще пребываю, и по возрасту я уже старше своего крестного. Но остались после него неисчислимые виртуальные клоны, и когда вижу на экране телевизора кого-нибудь из них, я с радостным сердцем приветствую: «Здравствуй, крестный».

Чем больше я убеждаюсь, глядя на его работы, в подлинности этого гения, тем понятнее для меня и дороже все проявления его человеческих достоинств и слабостей, которые пришлось наблюдать за ним. Они суть такие же, как плюсы и минусы любого характера — гения или не гения на земле. Однако жизненные проявления характера Смоктуновского-бессмертного, были выше обычных слабостей и намного сложнее добродетелей человеческих.

Вот он любил своего сына Филиппа, моего крестного брата, но тот приносил отцу много огорчений и страданий, за что родитель свирепо ругал своего отпрыска. Пусть простит меня Филипп, мой крестный брат, за то, что рассказываю сейчас.

Однажды Иннокентий Михайлович зашел ко мне очень удрученный, долго не заговаривал о том, с чем пришел. Затем начал издали:

— Вы знаете, Филипп хороший мальчик, добрый, мягкий, отзывчивый. И очень талантливый. Когда был еще маленький, участвовал в школьном спектакле, ему по роли надо было размахивать флагом. Он потом спрашивал, как получилось? — мол, только я начал размахивать флагом, так все вокруг исчезло, и я не помню, что было дальше. Наверное, это было вдохновение? — спрашивал... У него талант, несомненно. Но он слабый, Толя, у него нет воли... Одним словом, я прошу помочь мне... Из-за границы я привозил много дорогих пластинок. Я вас прошу, Толя, спрячьте здесь у себя кое-что, и если придет Филипп и спросит, не приносил ли я пластинки, скажите, что нет, ничего не знаете...

Я попал в очень затруднительное положение. То, что он просил, было так понятно... Однако я не дал согласия, хотя и не отказал.

— Вещи я возьму и спрячу, но, если Филипп придет ко мне и спросит, у меня ли они, я не смогу сказать, что не у меня.

— Почему? Вы так честны, что не сможете сказать маленькую ложь ради меня?

— Иннокентий Михайлович, ради вас я готов сделать что угодно на свете... Но перед Филиппом не могу... Он мой крестный брат.

— Но я прошу вас сделать это для него же!

— Я могу не отдавать пластинки... Но если он спросит, не у меня ли они спрятаны, сказать «нет» не смогу, Иннокентий Михайлович. Простите меня.

— Бог простит. Ну ладно, если бы я знал, что вы откажете, не стал бы обращаться к вам, Толя. Неловко получилось. Но я никак не ожидал...

Об отношениях отца и сына, сложившихся между ними по воле рока, я не хочу и не смею судить, да и не знаю об этом в достаточной мере, но по прошествии большого времени знакомства с этой семьей, от начала и по сей день, я могу без преувеличения сказать, что они суть высокая драма, даже трагедия шекспировского уровня. Поразительным образом,

эти отношения косвенно отразились в сценах между Герцогом и Скупым Рыцарем в маленьких трагедиях Пушкина, постановка Михаила Швейцера. Герцога играет Филипп Смоктуновский, барона — Иннокентий Смоктуновский. Хочу сказать, что в этой единственной большой, насколько я знаю, роли сын предстал на художественном уровне, равном своему знаменитому отцу. Филипп, мой крестный брат, по моему мнению, высокоодаренный человек, и бесконечно жаль, что почему-то его актерская судьба не сложилась... В фильме поражают глаза обоих артистов, их взгляды, которые обращаются друг к другу по ходу действия. В этих глазах, в их взглядах выразилось столько отцовской тревожной страсти к сыну и такая нежная, великая, несказанная любовь сына к отцу... Я говорю не о любви персонажей трагедии — по сюжету они не были в родстве — я говорю о подлинной, великой, непростой любви отца и сына Смоктуновских, которая осталась для мира безвестной, но была выказана глазами этих актеров в небольшой сцене пушкинской трагедии.

Через некоторое время я все же был прощен, и Смоктуновский по-прежнему заходил ко мне, когда он бывал у своих. Как и раньше, приглашал меня к себе в гости по праздникам, дарил контрамарки на спектакли со своим участием в Малом театре, во МХАТе. И я мог снова и снова видеть проявления истинной гениальности этого человека в высоком артистическом деле, — а также видеть его в житейских проявлениях, где ничего «гениального» не было.

Как-то во время визита к родным Иннокентий Михайлович с женой и дочерью зашел на недолгое время ко мне, я хотел угостить их какими-то корейскими блюдами, до которых знаменитая семья была охоча. Это я их приучил, разумеется, а моя жена Зоя отменно готовила корейскую еду. И я всегда от души радовался, когда удавалось вкусно накормить знаменитую семью. Но на этот раз вышло все по-другому: Смоктуновские поблагодарили и отказались от нашего угощения. Сам Иннокентий Михайлович объявил, что они все перешли на *сыроедение* по методу какого-то знаменитого иранского профессора. Как я понял из пространной лекции Смоктуновского, метод этот был проявлением самого строгого вида вегетарианства, когда не только никакого мяса, но и ничего вареного нельзя было есть! Мясо нельзя было потому, что во время убиения животного в его плоти от мучений, шока, страха и, главное, безысходного протеста и ненависти к убийцам вырабатывается страшный яд, который медленно убивает мясоеда — свершается праведная месть поедаемых травоядных.

Страдание Смоктуновского продлилось, наверное, около месяца. Может быть, чуть больше. Летом это началось, лето еще не кончилось, когда мы снова встретились — у Ширы Григорьевны. Вид у крестного был плачевный. Ни проблеска жизненной радости не было на его лице. Он тяжко вздыхал и, ссутулившись, сидел за кухонным столом тещи. Перед ним стояли три чашки. В одной была оранжевая курага, в другой темно-синий изюм, в третьей — очищенные мозги грецкого ореха. Крестный внимательно смотрел на весь этот великолепный продукт, дары солнечного Узбекистана, не столь отдаленного от солнечного же древнего Ирана, где проживал великий ученый, чудесный маг натурального *сыроедения*. Но, видимо, маг и просветитель Смоктуновского не принес ему большого счастья. Тогда я, движимый великой жалостью к крестному, от всей души и без злорадства осмелился предложить ему: «Может быть, пойдемте ко мне? Есть чем вас угостить». Он встрепенулся, поднял на меня глаза — о, какой же это был взгляд, сильный, осмысленный, глубочайший, почти такой же, как в «Гамлете», в сцене с флейтой: «На мне играть нельзя-а-а!» — казалось, произнесет сейчас он, и я буду уничтожен на месте, как Гильденстерн и Розенкранц — вместе взятые. Однако крестный сказал нечто совсем другое. Кротким голосом он молвил: «Ну, хорошо... Пойдемте». И тут в кухне появилась Суламифь. «Как тебе не стыдно, Кеша! — прозвучал ее резковатый, чуть в нос, волевой голос. — А вы, Толя, как вам не стыдно соблазнять слабого человека!» — и так далее. Смоктуновский не смотрел на жену, отворачивал от нее лицо и что-то бормотал, — совсем как Юрий Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля»... Словом, он пошел со мной, и я на славу угостил любимым его блюдом — корейской лапшой «куксу», в заправке которой были тонко нарезанные ломтики мяса, яичная окрошка и свежая огуречная зелень, настроганная нежными пахучими кружочками. Он сидел у меня за столом, наворачивал большую чашу куксу и отнюдь не выглядел несчастным... Было и такое.

Были и другие дела. Мне через многие и многие годы нищеты и безнадежности наконец-то, с легкой руки Смоктуновского, стало везти, печатали почти все толстые журналы, стали выходить книги. И пришла пора первоначального накопления капитала — выпало немного денег за переиздание моих произведений. И я сразу же решил приобрести автомобиль, ибо добираться до Немятово местными попутками стало уже невмоготу. Я мечтал о вездеходе-внедорожнике, который мог бы преодолевать жуткие грязи мещерских дорог. И вот, о везение! — такая возможность появилась! Некий директор одного московского совхоза, мой знакомец, соплеменник-кореец, предложил мне за бесценок взять у него списанный «газик», маленький вездеход, — но не с брезентовым верхом, а с наваренным самодельно металлическим верхом!

Это был уникальный вариант счастья, — но всплыл один роковой момент, который стал на пути к этому счастью. Дело в том, что в ту пору советской жизни вездеходы-внедорожники стояли на особом учете, и в случае военного положения подлежали мобилизации. И чтобы купить такой вездеход или продать его, нужно было получить специальное разрешение в одном военном ведомстве. А получить такое разрешение или добиться аудиенции у начальства было мне, ничтожному, совершенно невозмож-

но. И я, мелкий негодяй, обратился к Гению с просьбой пойти со мной в военное ведомство к какому-то майору Прохоренко и молвить за меня словечко. Выслушав меня, крестный только вздохнул и, нацепив какие-то ордена на пиджак, отправился «покувыркаться». Случай этот тем более неблаговидный с моей стороны, что я, с помощью Смоктуновского получив разрешение от начальства, почему-то не воспользовался им, и вездеход этот, ГАЗ-69, так и не был куплен мной.

Когда же я купил свою первую машину — по его совету, — советский внедорожник «Ниву», Иннокентий Михайлович давал мне уроки практической езды, и вот как это выглядело. Сидя рядом на переднем сиденье, он наставлял:

— Учтите, Толя, наши машины такие слабенькие, нескоростные — никогда не разгоняйтесь. Не выходите на скорость выше предписанного, ни на трассе, ни в городе. В городе ваша полоса — вторая, держитесь на шестидесяти километрах, и не надо больше! Вам будут гудеть, обгонять вас и смотреть на вас с презрением, не обращайте внимания. Но тот, кто понимает правильную езду, будет только уважать вас. Будет ехать сзади и думать: вот парень ездит грамотно, молодчина!

Однажды он сказал мне комплимент, при воспоминании о котором до сих пор, чувствую, как краснею от удовольствия. Мы по бульварам подъезжали к улице Горького, и перед самой Пушкинской площадью загорелся красный светофор. Я вовремя заметил и затормозил, постаравшись сделать это как можно мягче, ведь я вез крестного! И он похвалил:

— Замечательно, Толя! Роскошно тормозите!

О, мне было чем гордиться!

Летним чудным днем мы отправились со своими детьми на прогулку через березовый лес у Рублевского шоссе. За лесом был Серебряный бор, но с другого берега Москвы-реки, не со стороны знаменитого городского пляжа. Рублевский лес был тогда свободен для прохода, вольготно стояли старые рослые березы, зеленые пролеты леса далеко просматривались. В этом лесу я зимой и летом прогуливал свою собаку Орлана, высокородного зверового принца из рода западносибирских лаек. Мы с ним часто гоняли белок, натыкались на взрослых лосей — ходили они тогда по Рублевскому лесу. В оврагах мы даже натыкались на кабанов. Тогда вдоль Рублевки не было никаких четырехметровых заборов, отгораживающих дворцы новорусских богачей, и от шоссе до самого Серебряного Бора, до Москвы-реки, можно было пройти пешком за какой-то час.

Мы шли с девчонками — Машей и Диной, моей было лет пять, Маша чуть постарше. Было радостно и светло идти по чистому от подлеска зеленому изволоку плавного бугра, постепенно продвигаясь к реке. Девочки наши, как и все дети на свете, неутомимо бегали под огромными белыми березами. Иннокентий Михайлович подходил к ним и, запрокинув голову, с восхищенным видом разглядывал вершины, тихо раскачивающиеся и негромко ропотавшие листвою в вышине под ветром.

— Ах вы миленькие! Славные! Какие же вы красивые! — бормотал он, и улыбка у него на лице была вполне счастливой.

Мы добрались до реки, устроились на высоком бережку, расстелив одеяла на траве и усадив на них девочек. Только что мы сами разделись, собираясь окунуться в воду, как случилось непредвиденное. Совершенно неожиданно среди ясного солнечного дня стремительно налетела гроза с молниями и громом. Полил обвальный холодный ливень, быстро перешедший в довольно крупный град. Мы завернули детей в одеяла с головой и усадили на землю на корточки. Сами, мокрые, встали над ними, совершенно растерянные и беспомощные. И вдруг я увидел, как возле детишек на земле поползли рукава дождевых ручейков, неся на себе бумажки, травяную труху. Иннокентий Михайлович с мокрыми, прилипшими к лицу волосами, в мокрой расстегнутой рубахе, стал ходить взад-вперед возле детей и, сложив руки на груди, подняв лицо к небу, стал молиться: « Господи, помоги! Господи, помоги!»

И тогда я вспомнил, что не очень далеко расположена некая автобаза, и предложил Смоктуновскому: «Хватайте детей за руки — и к автобазе!» Мы так и сделали — и вскоре с мокрыми, испуганными, замерзшими девочками забежали в будку проходной автобазы. Там женщины разохались, перехватили у нас детей, раздели и начали осушать полотенцами. Нам со Смоктуновским выдали старые ватные телогрейки, и мы, скинув мокрые рубахи, живо влезли в замасленные сухие ватники. Не знаю, как выглядел я, но Гений смотрелся весьма экзотично в мокрых подвернутых штанах, из-под которых торчали жилистые босые ноги с тонкими щиколотками, в просторной распахнутой телогрейке, из которой проглядывала худая волосатая грудь.

Собрался вскоре народ, артиста, видимо, узнали. Женщины, молодые и не очень, смотрели на него восторженными глазами. Мужики были более сдержанны, но один из них, здоровенный работяга в спецовке, подошел к нему и, с игривым выражением на лице слегка толкнув его в плечо своим плечом, спросил:

— Деточкин, что ли?

— Да, да! Я Смоктуновский! — обрадованно произнес он и тут же, без паузы, торопливо выпалил: — А нельзя ли машину достать?

— Отчего нельзя? Можно. Сейчас такси вызовем.

И вскоре мы, одетые в высушенные рубахи, девочки в сухих платьицах — где-то быстро выпарили нашу одежду — садились в машину с зеленым глазком на переднем стекле, а толпа, собравшаяся провожать нас, обступила ее с двух сторон. Садясь сесть в машину, Смоктуновский, уже поставив одну ногу в салон, замахал обеими руками над головой и провозгласил торжественным голосом:

— До свидания, друзья! Спасибо за все!

И действительно, казалось, что он прощается с лучшими друзьями, у которых славно погостил. А я смотрел на эту сценку, испытывая смешанное чувство умиления, что Гений так запросто общается с простым народом, и досадой, что он делает это излишне театрально, не совсем искренне — «кувыркается» не к месту, словом... А ведь народ его любил... Любил и не любил. Я знал его фанатичных поклонников и среди самой рафинированной творческой интеллигенции, и среди так называемого простого народа, не имеющего к так называемому творчеству никакого отношения. Знал среди «интеллигентов» и лютых (почему-то!) ненавистников Смоктуновского, а среди «простых» — беспредельно, почти религиозно приверженных к нему фанатов.

Вот рассказ об одной из них. Была такая девушка из приволжского города Хвалынска, которая бросила мужа и приехала в Москву только затем, чтобы иметь возможность увидеть его живого, неэкранного. Никаких изначальных особенных надежд у нее не было, она просто хотела живым лицезреть свое божество и убедиться, что оно реально ходит по земле. В Москву из Хвалынска она приехала уже подготовленная, довольно образованная в «смоктуноведении». Она и просветила меня, что по всему Союзу ССР созданы и существуют подразделения «секты смоктунов». Это такие общества фанатов Смоктуновского, отделения которых действовали в Москве, Ленинграде, Киеве. Фанаты переписывались, обменивались материалами, устраивали фестивали. Назовем ее, скажем, Анна, приехала в столицу с небольшой папкой, наполненной материалами «смоктуноведения»: фотографиями с его автографом, вырезками из газет и журналов, где были рецензии, интервью, статьи самого кумира. Анна пошла работать на стройку, чтобы получить временную прописку лимитчицы в Москве, жила в общежитии. Через некоторое время нанялась дворником в ЖЭК, получила служебную комнату в полуподвале. И наконец, в апофеозе своей подвижнической деятельности, Анна устроилась уборщицей на «Мосфильм», — и все для того лишь, чтобы как-нибудь увидеть Смоктуновского, проходящего по длинному коридору киностудии, и поздороваться с ним: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович». Он вежливо, с широкой смоктуновской улыбкой отвечал ей и проходил мимо. Так продолжалось много лет, Анна постарела, подурнела, потеряла все зубы, осталась однаодинешенька, зато вся ее дворницкая комната в полуподвале, все стены были тесно залеплены его фотографиями, портретами с автографом. Их у Анны набралось тысячи... Да и печатного материала у нее накопилось несколько солидных папок. Все они были пронумерованы и рассортированы по жанрам — интервью, рецензии, его собственные статьи... Вот такая история.

В воспоминаниях «Три ступеньки вниз», текст которых я подготавливал к печати, есть такое место: «Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки или читаю полные тревоги письма с просьбой совета — как попасть на сцену, стать артистом, — я знаю наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что я шел, зная, чего хотел... И единственным советом... в этом прекрасном, но тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда и Любовь».

Однажды после его приглашения на спектакль «Царь Федор Иоаннович» я подошел к служебному входу Малого театра, куда он вынес мне контрамарку. Когда он передавал билет, откуда-то сбоку подошла девушка, миловидная, молоденькая, небольшого роста, по неуловимым признакам явно провинциалка, вся трепещущая от волнения — и безмолвно протянула Смоктуновскому три алые розочки. Иннокентий Михайлович буквально навис над нею, когда, принимая от нее двумя руками протянутые цветы, говорил вздрагивающим от волнения голосом:

— Милая! Хорошая! Ну, зачем вы это делаете! Ведь я вижу вас не впервой, приметил давно! Цветы нынче такие дорогие! Зачем тратитесь, милая...

Было в его голосе столько искреннего чувства, столько сердца, такое понимание безнадежного устремления юной души к своей безнадежной любви и мечте, что мне, постороннему, стало не по себе, и слезы непроизвольно застлали мне глаза.

Но были люди и другого порядка, ярые ненавистники Смоктуновского. Один из них, некто Г-в, мой однокорытник по Литинституту, просто сотрясался в мелкой дрожи от ненависти, когда при нем речь заходила о Смоктуновском. А парень он был весьма толстый, рыхлый, с пузиком и вторым подбородком, и все это довольно неприглядно дрыгалось из стороны в сторону, когда он, не сдержав сердца, вскакивал с места и начинал изображать какую-то несуществующую походку ненавистного артиста, подсаживаясь то на одну ногу, то на другую, приговаривая при этом:

«Христосик... Христосик...»

Не знаю, чем не угодил бедняге Г-ву мой крестный, но ненависть Г-ва к артисту была велика, и она смахивала на желание свести с Гением какие-то личные счеты. Хотя какие личные счеты могут быть между карликом и титаном? Между рабом и Царем?

Мой Добрый Царь. Так я стал называть его после спектакля в Малом театре, когда мне удалось наконец-то посмотреть «Царя Федора Иоанновича».

Голос, четкая дикция, неразмеренные, торопливо догоняющие друг друга, но всегда внятные периоды речи, фигура и осанка — все это было мне известно, дорого, я уже давно знал актера и человека Смоктуновского. Но вот появился на сцене Царь в длинном плаще, в ботфортах. И я совершенно забыл о том, что еще накануне днем вместе с этим человеком гулял по березовому лесу, и с нами были наши дочурки...

Царь хромал, его ушибла лошадь. Опираясь на жену-царицу, он шутил, разговаривал с Борисом Годуновым, потом ушел обедать.... Ушел, но осталось после него впечатление, — по тому, как он опирался, тяжело наваливаясь, на царицу, как расслабленно двигался, — что Царь слаб духом и плотью, возможно, чем-то болен. И тайный телесный недуг будет неумолимо вершить свое дело, и вполне разумная жестокость, затаившаяся вокруг него, погубит доброго Царя.

Ощущение надвигающейся беды, трагическое подсознание пробудились во мне, глухая тревога не отпускала сердце. В антракте я пошел курить, нечаянно взглянул в зеркало — и в дымной полумгле курилки увидел свое несчастное лицо. Я поправил галстук и скорее пошел в зал, чтобы дальше мучиться в тревоге и в этой тревоге за человека ощутить самое сокровенное своей собственной души.

Финал пьесы как финал любой судьбы. Человек рухнул у нас на глазах, его подрубили. С ним вместе пала на землю и была растоптана прекрасная, но беззащитная доброта. Однако сама погибель, отчаянное и беспомощное поражение его породили из огня и пепла катарсиса чудную силу в наших душах. Мы постигаем свою сущность божественных творений благодаря наличию в душе этой силы — доброты. Мы, его современники, в течение многих лет могли наблюдать, как зарождалась и утверждалась его династия. Мы, чье имя легион, слышали, видели этих всегда странноватых, разноликих, но с яркими фамильными чертами представителей династии. Вот имена, вернее гражданские псевдонимы, некоторых из них: Илья Куликов, Лев Мышкин, Гамлет, Деточкин, Чайковский, чеховский Иванов... Необычный царствующий дом безграничного, в сущности, государства, граждане которого именуются зрителями.

Я ставлю царя Федора Иоанновича во главе династии не по хронологии и не по творческому ранжиру созданных артистом художественных образов на сцене и на киноэкране. Я отношу Царя к корню генеалогического древа всей Смоктуниады потому, что в этом его образе явлены самые яркие признаки рода. Основа их — доброта человеческая.

«Моего Гамлета во многих рецензиях называют добрым Гамлетом, — пишет он сам, — это, мне кажется, справедливо... Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение».

Такими были не только Гамлет, но и князь Мышкин, и Деточкин, и Чайковский — добрые, страдающие в этом мире через свою доброту, но вдруг приходящие в ярость... и опадающие, никнущие в печали и философской отрешенности.

Но царь Федор в исполнении Смоктуновского открывает нечто большее, чем каноническая христианская кротость. В этом образе предстает человек, в котором содержится космическое, вселенское начало доброты. То начало, что проявилось в человеке и через человека как знак его Божественного происхождения. Это обнаружилось в людях гораздо раньше христианства — раньше всяких религий, установленных нравственных гуманистических норм и законов. Великий актер и великий человек — Иннокентий Смоктуновский своим творчеством показал, что доброта была заложена в человеке — она была запрограммирована Творцом как фундаментальная основа нашей духовной эволюции.

И тайна необычайного воздействия на современников, тайна его царской власти над зрительскими душами заключается в том, что все им созданные лучшие образы не только раскрывают доброту как движение и устремление человека, но постоянно, в каждом мгновении своего эстетического бытия пребывает в ней, выказывая его пластическую, музыкальную, психологическую конкретную сущность.

Все мучения, даже гибель носителей этой доброты не проходят для нас бесследно. Кажется, примеры их поражений и падений чем-то даже увеличивают нашу собственную сопротивляемость, нашу решимость противостоять злу. Таковы для нас уроки катарсиса, усвоенные через трагедии князя Мышкина, принца Гамлета, царя Федора.

Посмотрев «Царя Федора Иоанновича» я, потрясенный, вернулся домой и всю ночь до утра не спал, писал статью об увиденном театральном шедевре, о великой роли, сыгранной Смоктуновским. Статью эту вскоре напечатали в одном из «нетолстых» литературных журналов, возглавлял который некто из амбициозных писателей-чиновников, были такие в советские времена. Я был этой статьей доволен, те, что читали, тоже были довольны, но вдруг редактор-писатель вызывает меня к себе и просит привести к нему Смоктуновского. Для чего? А для того, чтобы он пришел в редакцию и выразил свое большое удовлетворение тем, что статья появилась в журнале. Но зачем это Смоктуновскому — выражать свое удовлетворение? И тогда редактор раскрыл карты: из ЦК комсомола последовал звонок, там почему-то сильно недовольны статьей. Но все же — при чем тут Смоктуновский? А оказалось, что, если он самолично придет в журнал и скажет, что очень доволен статьей, об этом можно доложить на самый верх ЦК ВЛКСМ, — тем самым журнал будет нейтрализован от неприятностей... Мне пришлось рассказать об этом крестному. Он только вздохнул, — все понимая, посадил меня в машину и поехал «кувыркаться» в журнал... Но редактор, этот природный конъюнктурщик и трус, одновременно самый отважный боец за каждый новый властный режим, устанавливавшийся в стране, чудовищно унизил меня и, главное, унизил моего великого крестного! Сидя за своим редакторским громадным столом, он даже не оторвал свой конъюнктурный зад от редакторского кресла и лишь величественным движением руки показал на стул перед собой: «Здравствуйте, Иннокентий Михайлович! По какому случаю к нам?» Мне нужно было бы тут же пристрелить его на месте из пистолета, но, к сожалению, я забыл дома пистолет. Добившись

необходимого визита, позволяющего ему доложить наверх, что Герой Соцтруда и лауреат был у него и благодарил за статью, писатель-чиновник-редактор даже чаю не предложил Смоктуновскому.

А теперь об очень важном для меня. Дело в том, что я его совершенно не узнавал — так сказать, физически и психологически, — когда он готовился к новой роли и заранее глубоко погружался в эту роль, перевоплощался в героя. Перемены во внешности, в поведении, походке и даже росте были разительными — все это изменялось в нем, и я не узнавал Смоктуновского.

Вот однажды я зашел к соседу Горшману и говорил с ним о чем-то, стоя в узенькой, метр шириною, проходной на кухню. Из комнаты вышел и направился туда какой-то лысый, толстый человек в розовой рубахе навыпуск. Не понравилось мне одутловатое, закрытое, отчужденное лицо этого человека, глаза не понравились, жесткие, неприятные. Ко всему этому он, проходя мимо нас с Менделем Хаимовичем, бесцеремонно толкнул меня корпусом и, как-то некрасиво, не по-мужски оттопыривая зад, унес его в кухню. Я, стараясь не выдавать голосом свою неприязнь к незнакомому гостю соседа, спросил у него: «Кто это у вас?!» Мендель Хаимович на это ответил сначала удивленным взглядом своих черных глаз, потом молвил: «Вы что, Кешу не узнали?»

Да, Кешу я не узнал, и это потому, что он тогда готовился сразу к двум ролям в кино — Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» и эпизодического Гения из «Живого трупа». В обеих этих ролях я узнал того самого неприятного типа в квартире Горшманов, который толкнул меня в тесном коридорчике, проходя на кухню. А в кинофильме «Преступление и наказание» я услышал, что Порфиша страдает геморроем и походка, стало быть, у него оттого и специфическая. В «Живом трупе» эпизодический персонаж из кошмара Федора приближен к дьявольскому образу и оттого метафизически неприятен. Словом, фактурно — по внешности — два образа были похожи, актер перевоплотился в малоприятного на вид одутловатого человека с вывернутыми губами. И, буквально столкнувшись с ним в проходе на кухню у Горшманов, я совершенно не узнал в нем крестного. В том и заключалось свойство великого актера — умение настолько перевоплощаться в образ, растворяться в нем, что совершенно исчезал куда-то облик самого Смоктуновского, его человеческий оригинал.

Как-то я шел по дорожке от дома к метро «Молодежная», недалеко от которого находился наш дом. Дорожка была извилистой, входила в купу деревьев, и вот оттуда, из аллейки, появился навстречу высокий человек. У него была летящая походка, как бы устремленная ввысь, он был бородат, крупнокурчав, очень красив. Сблизившись со мной и проходя мимо, он неожиданно откровенно нагло выставил локоть и довольно сильно толкнул меня в бок. Я живо обернулся, мгновенно рассвирепев, и раскрыл рот, чтобы достойно по-русски обложить этого интеллигентного с виду человека, который схамил, чувствуя себя, видимо, намного статуснее меня, неважно одетого нацмена азиатского обличия. Но я ничего не успел произнести, потому что услышал знакомый голос с любимыми, дорогими для меня звучными модуляциями:

— Что это вы, Толя, не хотите со мной здороваться? Что случилось, я вас чем-то обидел?

Передо мной стоял Смоктуновский, в прекрасном костюме, с галстуком, прищурившись, хитро улыбался. Вид у него был торжествующий. Ему было приятно, должно быть, что он так хорошо «спрятался» за свою новую личину: готовил роль Чайковского в одноименном фильме. А я тогда мгновенно проникся догадкой, в чем суть его гениальности как актера...

Никакого ведь у него особенного театрального образования не было — только год на «актерских курсах» в студии послевоенного Красноярского театра. Не усваивал он в упорных сценических тренингах ни системы Станиславского, ни школы Михаила Чехова. А просто он, как говорил мне, на войне не раз смотрел в лицо смерти. И, заглядывая в ее темные глаза, — именно в то мгновение, — молодой сибирский паренек, длинный, худой, синеглазый, обретал навыки переселения в иные души. Смертельная угроза и смертная мгла, наваливаясь на человеческую душу, подвигают ее к реинкарнации и метаморфозам. При готовности перехода в другое состояние, у порога смерти, душа и обретает возможность преображения. Способность полного духовного перевоплощения и есть свойство гениальности. Она в том, что, будучи живой, душа преодолевает порог смерти и восходит к бессмертию. И человек-гений обретает безграничную творческую свободу — состояние существования души без смерти. Потому и — бессмертие.

Но любой Гений — человек, а человек смертен. Умер и Христос, в которого Смоктуновский верил, «как темная деревенская бабка». Не знаю, какова была у крестного воцерковленная жизнь, но я видел и чувствовал, что верует он глубоко, беззаветно и благодарно. Он не раз смиренно и просто и без всякого мистического пафоса говорил, что в самых страшных смертельных обстоятельствах чудовищной войны, в которой ему пришлось участвовать с семнадцати лет окопным солдатом, командиром отделения автоматчиков, его берегла Высшая сила.

Иннокентий Михайлович однажды пригласил меня на первую репетицию в театре (не помню уже, в каком), где ему предложили поставить «Царя Федора Иоанновича». И вот, набрав труппу, он созвал актеров на первую установочную встречу. Почему он меня пригласил, я не знаю, ведь в театральном мире я еще был никто, пьесы мои должны были появиться на свет нескоро, до постановки их на театре, стало быть, было мифически далеко. Смоктуновский серьезно решил попробовать себя в режис-

суре и в труппу спектакля собрал хороших актеров. И вот первая встреча — она продлилась совсем недолго. Смоктуновский начал с того, что спросил, знают ли актеры и актрисы «Отче наш». Коллектив, как говорится, замер на продолжительное время в почтительном молчании. Тогда Смоктуновский, словно в Малом театре, пристально обвел испытующим, напряженным взглядом царя Федора лица окружающих его актеров. Напряженное молчание затягивалось. И он обратился к одному, не старому еще актеру В.:

— Вот вы знаете «Отче наш»?

Молчание. Отрешенный, ускользающий в сторону взгляд темных красивых глаз артиста В. И тогда Иннокентий Михайлович объявляет:

— Ну, друзья мои, на сегодня все. К следующей встрече я всех прошу выучить «Отче наш», просьба, разумеется, к тем, кто не знает. Вы хотите участвовать в истинно христианской пьесе, как вы сможете играть в ней, не зная этой молитвы?

Кажется, дело это — постановка Смоктуновским «Царя Федора Иоанновича» — так и не состоялось.

Однажды во время летнего деревенского проживания в Мещере, в Немятово, я заразился отвратительной болезнью — опоясывающим лишаем. Это было так мучительно! Герпесные пузырьки выскочили на голове, шее, на пояснице, я от них криком кричал. Бедная моя жена Зоя ухаживала за мной с испуганным лицом, приносила еду на веранду, которую я построил своими руками и где лежал в одиночестве на мучительном одре болезни. Крестик, которым благословил меня мой крестный, я снял со своей уязвленной волдырями шеи и положил на деревянную табуретку у изголовья постели. И вот однажды крест куда-то бесследно исчез. Никто, кроме жены, ко мне на веранду не входил. Крестик был самый дешевый, оловянный, на простом шнурочке, который когда-то мой крестный вдел в его ушко, озабоченно оттопырив нижнюю губу, нацеливаясь сквозь стекла старушечьих очков...

Слава Богу, благодаря слезным ночным молитвам я вылечился от жуткого недуга. Когда осенью вернулся в Москву и мы встретились с Иннокентием Михайловичем, он ошарашил меня признанием:

— Вы знаете, Толя, я потерял свой крестик. Купался, отплыл недалеко от берега, а когда вернулся, его не было на шее. Жаль, это был дорогой крестик, и цепочка золотая...

Я ему сообщил и о своей потере. Он ничего не высказал по поводу такого странного совпадения, я тоже не нашелся что сказать. Так до сих пор не могу разгадать, к чему было такое знамение для нас.

А после произошло и многое другое, вдребезги развалилось могучее государство. Я своей рукой вдребезги разбил свою семью, переженился, уехал в Корею. Там прожил четыре с половиной года, а когда вернулся в Москву, крестный умер...

Мой крестный Иннокентий Михайлович Смоктуновский пребывает сейчас в своем посмертном существовании, послежизни — намного значительнее, чем при жизни.

Конечно, это постоянный непрекращающийся подвиг, нелегкая работа — быть Гением, очень тяжелый, опасный для души труд. Потому что каждый раз, проходя через полное перевоплощение, она, душа артиста подобного накала творческой страсти, должна пройти что-то вроде клинической смерти. Смоктуновский, художник того же титанического плана, как и Микеланджело, схватываясь с ролью, как последний с глыбой мрамора, не мог уже отойти от своей роли-глыбы ни на шаг, ни на миг. Пока постепенно, отсекая от собственного существа кусочек за кусочком, не превратит его наконец в Давида с пращой. Не отражается ли каким-то образом на физическом и психическом здоровье артиста искусство полного перевоплощения? Конечно, если роль прекрасна, возвышенна, как роль Моцарта или Чайковского, если образ исполнен силы и энергии красоты, то перевоплощенная душа сама обретет эту силу и энергию и облачится в светоносную ауру гармонии. Но если роль отягощена грязью алчности и наполнена чернотой удушливой злобы — Скупой рыцарь, Иудушка Головлев, Сальери — не деформирует ли это в уродливую сторону его телесную и душевную сущность?

Мне однажды надо было почему-то обязательно встретиться с крестным, я созвонился с ним и приехал к нему на Суворовский бульвар. Нажимаю звонок, дверь распахивается, и на пороге появляется какая-то лохматая старуха в неряшливо запахнутом халате, с костлявыми голыми ногами, торчащими под коротким халатом. Она этими неприлично оголенными ногами в тапочках еще и сучит на месте, перебирает ими, поджимая то одну, то другую. И смотрит на меня эта старуха как змея, неморгающими глазами, и как-то гаденько облизывает языком губы. Я сдержанно спрашиваю у старухи, дома ли Иннокентий Михайлович — и тут он принимается хохотать, довольный тем, как удачно «покувыркался» передо мной. Он тогда начинал работать в МХАТе над Иудушкой Головлевым. Очень неприятная роль, но абсолютно убедительная и достоверная. Болезненная мерзость характера, прячущегося в складках мантии сладкоречия и удушливой ласковости.

Но вот мы вошли в квартиру, и в прихожей на высоком застеленном бумагой ящике я увидел сидящую на месте и что-то усердно уплетающую, вовсю работая щеками, толстенькую морскую свинку. Смоктуновский нагнулся к ней и стал подкладывать кусочки нарезанного яблока, ласково приговаривая: «На, ешь, ешь, дурочка моя! Хрюня! Хрюнюшка славная!» И лицо его было отнюдь не то самое, что у давешней старухи-Иудушки — Иудушка Головлев вмиг исчез, улетучился с этого лица! Стоял передо мной уже не очень молодой, добрый, замечательный мой крестный в стареньком домашнем халате.

Не помню, когда и при каких обстоятельствах он говорил мне, но я помню его голос, произносивший следующее: «Я могу на сцене повернуться спиной к зрителю и говорить шепотом — и меня услышат. Перестанут дышать, замрут — и услышат. Я заставлю себя услышать, потому что, когда веду роль, я говорю из другого пространства, чем сценическое пространство. На фронте моя рота была окружена на какой-то мызе, мы отстреливались, но патроны кончились, и командир приказал мне ползком переползать по земле и, словно Гаврошу, собирать с убитых боеприпасы. Я пополз, приказ есть приказ. Я собирал патроны, пересыпал из подсумков убитых себе в вещмешок. И вот беру у одного, а он вдруг открывает глаза и смотрит на меня — уже оттуда. Е г о в этом перерубленном снарядом теле не было, тело было абсолютно мертвым. И только глаза смотрели на меня, но они были там! И потом, когда стал актером, я начал понимать, что любая роль, любой образ — существо не нашего мира. Этот персонаж, — если исторический, — уже давно умер и ушел из нашего мира, а если персонаж выдуманный, все равно его нет, и не было его в нашем мире. Все, кого мы, лицедеи, изображаем, — они из того мира. Я это понял, и в этом моя актерская сила, с помощью которой я заставляю зрителей смотреть на меня как завороженных и услышать все, если даже я скажу это шепотом. Я нахожусь в том мире и оттуда говорю им в самое ухо, обращаюсь напрямую в их душу.

В «Гамлете» принц Датский умирает, опустившись на каменный приступок скалы, откинув руку. Я нигде в другом фильме или на сцене не видел, как человек, всего за несколько минут до этого отважно сражавшийся за жизнь, умирает у меня на глазах — очень просто, без театральности, по-настоящему, окончательно и бесповоротно. Только что сотрясаемый страстями, мучительно корчившийся от невыносимых душевных ран, — отравленный Гамлет сел на каменный уступ, откинул руку, уронил голову и мгновенно ушел туда, откуда человеку возврата нет. Умер у меня на глазах по-живому.

Как умер сам Смоктуновский, я не знаю. Я еще отрабатывал университетский контракт в Корее, куда уехал в девяносто первом окаянном году, в дни ГКЧП, а в августе девяносто четвертого вернулся на время каникул в Москву — и однажды узнал, что крестный умер. Не помню, каким чудом мне удалось прорваться в Художественный театр, на сцене которого происходила гражданская панихида и прощание со Смоктуновским. Крестного я увидел в последний раз лежащим в гробу, пройдя мимо него в медленно текущем потоке людей, пришедших в театр попрощаться с ним. С правой стороны от гроба сидела его семья: жена, дети — Филипп и Маша, а также моя первая жена. Я положил цветы на огромную гору цветов, заваливших гроб с телом крестного. Лицо его было, как у всех усопших, совершенно другим, незнакомым, беспощадно отчужденным ко всем оставшимся в этой жизни, в том числе и ко мне. Так, на дальних дистанциях смертного отчуждения, я прошел мимо и попрощался навеки со своим крестным.

Я не посмел подойти и выразить соболезнование вдове, ибо с нею рядом сидела бывшая моя жена, которую я бросил. Зоя была близка Суламифи по тем душевным качествам, а также и по наследственным симпатиям ее родителей к матери моих детей, — человеку кроткому и добросердечному. Отец Суламифи, Мендель Хаимович, художник-акварелист, обожал Зою, писал ее, дружелюбно привечал, но особенной их дружбе содействовало одно печальное обстоятельство. Старый художник был давно болен туберкулезом легких, долгие годы лечился, а моя жена заболела сразу после рождения второго ребенка туберкулезом почки. И вышло так, что они, бедняги, подолгу лечились в одной и той же больнице в Сокольниках. Оба они были «ходячие больные» и в часы прогулки на свежем воздухе вместе гуляли по длинным аллеям лечебницы, оба маленькие ростом, такие разные, трогательные... И когда старый Горшман скончался, он включил в число наследников своего скромного капитала мою жену. Причем распорядился так, что Смоктуновской ничего не досталось, ибо он счел ее богатой, большая часть досталась старшей дочери Рут, самой бедной по его мнению, а остальное поровну разделил между своим сыном Аликом (Александром) и Зоей. Причем он наказал своей жене Шире, душеприказчице, что деньги должны быть отданы строго по назначению Зое, мне же не полагалось «даже и на одну сигарету». О, я не в обиде на него, мудрого Менделя, ибо он видел, чуял уже, наверное, что когда-нибудь я брошу ее.

Смоктуновский пришел ко мне, чтобы спасти меня от гибельного отчаяния после моих десяти лет безуспешной беготни по московским редакциям, в пору моего чудовищно затянувшегося дебюта. Говорю спокойно, уверенно, что я погибал тогда, но прислал мне Господь Смоктуновского. Это произошло в обстоятельствах банальной житейской будничности — самое настоящее чудо. Как бы я мог, даже во сне, предположить, что однажды через порог моей нищенской квартиры перешагнет величайший из актеров? Один из вечных гениев человечества. Воистину он был послан мне Самим провозвестником Вселенской Любви, чтобы я остался жив и служил ей.

Мы были в добрых, близких отношениях больше двадцати лет, но он был так тесно окружен при жизни всякими значительными и не очень значительными, знаменитыми и не очень знаменитыми деятелями культуры и значительными людьми советской номенклатуры, что побыть вдосталь около своего самого любимого художника мне не удавалось. Не мог и особенно быть полезен ему в его литературном деле — Смоктуновский сам писал замечательную прозу, воспоминания, эссеистику, все это охотно публиковали журналы. Я иногда готовил к печати некоторые его рукописи, а жена моя перепечатывала их на

машинке «Оптима». Он глубочайше, высоко, прекрасно чувствовал русское художественное слово, писал о Пушкине, талантливо воспроизводил в чтении его стихи, писал о Достоевском. Оставил превосходные по слогу воспоминания о своем военном прошлом, о многотрудном пути к началу восхождения к вершинам большого творчества.

Я попытался воссоздать, по мере своих возможностей, необычайной силы и красоты человеческий образ Артиста, подлинного Гения, высшего представителя человечества, каким был Иннокентий Михайлович Смоктуновский.

Собиратели трав

Моей дорогой матери

Воздушный мост между ночью и днем

В начале лета город посетил гастролирующий по Сахалину не очень знаменитый киноартист. Из соседнего районного города прибыл он на машине, явился к самому началу концерта, и встретили его возле клуба «Шахтер» двое из местного общества «Знание», директор клуба да пожилая клубная работница. Директор, белесый, лысеющий, с настороженными глазами человек, придержал за локоть киноартиста и, когда остальные прошли вперед, заботливо спросил у него, почему он небрит. Гость рассмеялся, тронул обросшие щеки двумя пальцами и охотно объяснил, что готовится к новой роли, в которой надлежит ему сниматься бородатым. И на своем выступлении в клубе он первым делом извинился перед публикой за свой внешний вид и, чуть приплясывая от артистического волнения, рассказал подходящую к данному случаю историю. А потом спел. Между выступлениями показывали части старых кинофильмов, в которых играл он то роль поэта, то морского офицера или — в неузнаваемом виде — согбенного старца с белой бородою. И пока на экране мелькала его тень, запечатленная в пору молодости и удачи, сам артист сидел за столом в комнате рядом со сценой и, пригорюнившись, обхватив голову руками, о чем-то думал.

А поздним вечером, когда концерт был уже позади, усталый артист вошел в местную маленькую гостиницу, предварительно почиркав ногами о забитую в крыльцо железную скобу, очищая налипшую глину с башмаков. Пролился ночной дождь, и улицы города были грязны.

В номере, который ему отвели, лежал на одной из двух кроватей одетый человек, смотрел в потолок, артист с ним поздоровался. Тот медленно повел глазами, туманно уставился на вошедшего и тихо ответил:

— Здравствуйте... Дождик идет?

Артист засмеялся:

— А вы разве не слышите, чудак?

И он показал на зашторенное окно, за которым стоял широкий водяной шум дождя. Взглянув внимательнее на соседа, артист опять рассмеялся.

— Я вас приветствую, — весело сказал он. — Наверное, тоже решили отращивать бороду, поэтому и приехали в такую дыру. Угадал? Простите меня, но здесь, в городе, вопрос этот, кажется, вызывает у всех большой общественный интерес. Меня уже сто раз спрашивали...

Сосед, задравший подбородок кверху, тоже пребывал в густой неопрятной щетине. Заломленные над головою руки его были длинны, худы и остры в локтях. Он замедленно, кротко улыбнулся на слова артиста и ничего не ответил, лишь утомленно прикрыл глаза.

— Представьте себе, не ел с утра, — принялся жаловаться артист. — С машины прямо на сцену. И после концерта не покормили, дьяволы. Товарищ один, местный кадр, полюбопытствовал: «Ну, как выручка?..» Словом, скучно мне, скучно, сосед! Далеко я забрался от Москвы. Чувствую себя сирым и несчастным, и, как говорил Гоголь, некое одиночество в желудке... А тут еще этот дождь.

Артист освободился от мокрой верхней одежды и, задрав к раковине ногу, принялся ее мыть. Это был ясноглазый, курчавый человек с седыми висками, еще моложавый и стройный. Мо́я ноги, он не глядел на них, а озирался по сторонам, страдальчески морщась.

— Ночь... Дождь. До гостиницы не проводили... Ботинки промокли, поесть негде, — бормотал он. — Плохо, плохо я чувствую себя, скверно...

— Не нужно... жаловаться, — вдруг тихо, простуженно пошмыгивая носом, произнес сосед. — Когда вас не станет, вы ничего не будете чувствовать. — И он, глядя в спину артисту, зашевелил головою на подушке, как бы желая погрузиться в нее затылком.

— Что?.. Вот спасибо вам, утешили, — немного обиделся артист.

Он успел уже помыть ноги и теперь топтался на разостланной газете, стоя в одном белье возле раковины.

— Надеюсь, — сказал он, — вы тоже ничего не будете ощущать... в том же самом положении, разумеется.

И прежде чем погасить свет, потянувшись к выключателю, через плечо оглянулся на лежавшего в брюках и рубашке соседа по номеру.

— Я тушу свет, уже первый час ночи, — сердито сказал артист. — Не возражаете?

Тот ничего не отвечал, лишь улыбался странно. И свет был выключен. Артист на цыпочках прошел к разобранной постели.

— Вам все не нравится, — раздался голос в темноте. — Не нравится город, дождь, гостиница. Вы обижены. А я вам скажу, что зря все это, зря. Вспомните: кто-то у Достоевского хотел существовать хотя бы на пятачке пространства, прикованный к скале цепью.

— А вы, я вижу, тоже почитывали, — прозвучал хмурый и насмешливый голос артиста. — Кто вы? Откуда? Давайте знакомиться, что ли...

— Я врач, — последовал ответ. — Из Южно-Сахалинска. Занимался гомеопатией... Но об этом сейчас ни к чему. Послушайте меня, вы, столичный человек! Я тоже всегда хотел пожить в столицах. Но вот сегодня утром я пошел прогуляться и попал на край города. Нет, не к морю, а в обратную сторону, к сопкам. Там, на берегу речки, стоит дом для престарелых из красного кирпича. Походил я у этого дома, поговорил с какой-то старушкой. Ну, она все жаловалась, на дочь свою жаловалась. У этих стариков и старушек, знаете ли, всегда есть на что пожаловаться... А потом я увидел за лощиной какую-то белую будочку, что-то вроде беседки, — рассказывал невидимый во тьме человек, и журчащий, тихий голос его был слегка хрипловатым, и пошмыгивал он при этом носом, казалось, смущенно и нерешительно. — Там, возле этой беседки, паслись на зеленой лужайке две лошади, — продолжал он рассказ, как бы сомневаясь про себя: стоит ли? И вдруг голос, вобрав в себя волнение, зазвучал глухо. — Это было самое последнее строение, дальше начинался лес. Мне захотелось посмотреть вблизи, что же это за будка, и я пошел напрямик через лощинку. Вы видели нашу сахалинскую кислицу?

— Кислицу? — недоуменно отозвался голос артиста, одолевая зевоту.

— Она у нас огромная! Я попал в заросли кислицы — метра три, наверное, была высотою. Еще крапива была жуткая, я весь обжегся. Словом, заблудился я в этих дебрях, к будке так и не вышел, а попал на какой-то зеленый бугор. Стою я на этом бугре и смотрю: будка, конечно, оказалась далеко в стороне. И вот тогда — слышите? — пришла мне в голову одна мысль. Я подумал, что этот бугор, на котором я стою, и есть самый центр мира. Тот самый, о котором мы все имеем смутное, но навязчивое представление. Ну, словом, бывает же у нас такое ощущение, мечта, что ли, что где-то находится место, где сосредоточено все самое настоящее, лучшее, прекрасное, — и туда мы должны непременно устремиться. Отсюда и эта навязчивая идея, эта тяга к столицам, поэтому мы в определенный период юности рвемся уехать из родных мест... Простите, вам интересно слушать? Или больше не надо? Простите...

— Нет, я слушаю, — произнес в темноте бесстрастный голос, словно сама темнота ночи, осыпающаяся шелестом дождя за окном, прозвучала в ответ тоскующему монологу человека. — Слушаю, стараюсь постичь вашу мысль.

— А она проста. Нет никакого особенного места на земле. Вернее, таким местом, где сосредоточено все самое главное, может оказаться любой кусочек земли. Бугор, заросший лопухами, или что-нибудь подобное. Это — то самое место, где однажды откроется тебе нечто огромное...

— И что же такое огромное открылось вам в этих лопухах?

— Нет, не надо так. Слушайте меня... Есть минуты в жизни, когда слова — это не просто слова, заключающие в себе какую-нибудь мысль, а словно сама мысль приходит и близко становится перед нами, как живое существо, и слова тогда не многое значат. Да ладно... Я понимаю, что это странный разговор и мы с вами не знаем друг друга, а скоро расстанемся, чтобы никогда не встретиться, наверное... Но мне некогда считаться с тем, что называется условностями, приличным или неприличным. Главное, главное важно! А оно в том, что мне открылось: что жизнь, оказывается, во сто, в тысячу раз ценнее, чем мы это представляем! Приведу пример: вот чирикают рано утром воробьи — и это не просто чириканье, это чудо! Глядя на то, как ворона машет крыльями, мы должны бы плакать от счастья.

И тут голос угас, словно поглощенный ночью, и огромная тишина медленно растворяла в себе брошенную в нее человеческую взволнованность, а вдали, за дождливыми пространствами темноты, трижды прокричал тонким голосом электровоз. То уходил из шахтерского городка ночной состав, увозивший добытый уголь.

— Да. Да... этот наш разговор после двенадцати ночи... в этой паршивой гостинице... Да! Вы правы, — начал хорошо поставленным вкрадчивым голосом актер. — В общем, он действительно странен, подобный разговор. Но я артист, и многие странности мне тоже понятны. Скажите, дорогой мой, что с вами стряслось? Ведь я угадал — с вами что-то случилось? И чем я могу помочь вам?

— Спасибо. Да, действительно со мною что-то случилось. И вы ничем не можете мне помочь. Но дело не в этом. Беда в том, что и одной тысячной доли того, что я теперь знаю, не смог я передать. Да и зачем вам? Вы завтра уедете... Концерты, цветы. Словом, извините меня. Спокойной ночи.

— Что ж, договорим утром, — охотно согласился артист, зевая. — Ох уж эти цветы! Мне сегодня преподнесли килограммов десять цветов, местных, как их называли... саранки, кажется. Я их выкинул с моста, когда шел сюда.

«Утром», — сказал он, а наутро, проснувшись поздно, артист не увидел рядом ночного собеседника. Неприбранная кровать его была пуста, окно над нею светилось голубизною и солнечной зеленью листвы: ночного дождя как не бывало, и чистый день сиял во дворе. Артист девять раз поднял вытянутые ноги к потолку, разминая брюшные мускулы, затем живо вскочил с кровати и, высунув в приоткрытую дверь обросшее веселое лицо, громогласно потребовал себе утюг. Когда принесли ему зеркально сверкающий электрический утюг, он собственноручно выгладил брюки, надел их и отправился дальше по своим делам. И невнятный, расплывчатый след от ночной беседы вскоре улетучился из его памяти, как и темный, безликий силуэт странного собеседника.

А тот был уже далеко, на берегу моря, на длинной песчаной косе, и темная, четкая тень его неслышно скользила рядом с ним по песку.

Ушел он из гостиницы очень рано, потому что так и не заснул в эту ночь, и, уходя на рассвете, разбудил спящую на коротком диване дежурную, расплатился за место и вышел в густой и влажный воздух сахалинского утра.

Дождевые тучи умчало с неба, и, когда он, покинув гостиницу, шел через весь безлюдный город по деревянному тротуару, рассвет уже перебросил воздушный мост меж тьмою ночи и днем. Густо-розовый небосклон стоял стеною света позади нагромождений тихих домов вокруг. И странно выглядел город, ясно выступивший при свете вышней зари, но без единой тени. Старые одноэтажные домики, крытые толем, шифером и тесом, словно источали в этот ранний час свой внутренний спокойный свет.

Проходя мимо бревенчатой длинной поликлиники, он замедлил шаги — и словно уменьшился в росте почти на целую голову и стал вдвое моложе. Он вспомнил, как шел так же по деревянному тротуару, гулко звучавшему под ногами, много лет назад, с усталой и волнующей усладой в душе после первого, затянувшегося на всю ночь свидания. Свидание происходило на душном сеновале, и потому блекло-зеленые палочки сена прилипли к его белой измятой рубахе... Проходя мимо бревенчатой длинной поликлиники, юнец увидел распахнутое окно и в нем, словно в высокой раме, белую, склоненную на облокоченные о подоконник руки девушку. Медсестра Света, первая красавица города, смотрела на него утренне ясными, зелеными, всепонимающими глазами.

...Тогда же повстречал он возле пустынного рынка понурого Робу Самсонова, бредущего через дорогу, и сонным было его лицо. То был матерый холостяк, баянист, постаревший король танго. Тогда еще появлялся иногда Самсонов в клубе, где молодежь осваивала новые прыгучие танцы, и стоял подолгу у стены, одинокий и чудной, как последний в мире динозавр. Он уже был нелеп в своих широченных клешах, заметавших пыль дорог, и полосатом матросском тельнике под распахнутой на груди рубахой, но не в состоянии был сам понять и принять это. И когда звучали из динамиков, скрытых по бокам сцены за красными полотнищами, звуки медленного блюза, Роба Самсонов выводил откуда-нибудь из угла одну из располневших подруг своей юности. И, прижимая свое горестное лицо щекою к щеке подруги, начинал широко, с раскачкою, утюжить по всему залу, вдоль и поперек общего движения. Старый гладиатор танго и вальса-бостона не смотрел ни на кого вокруг, он в трагическом забытьи откалывал сложнейшие фигуры и в вытянутой, как стрела, руке покачивал покорную руку партнерши... А в другие вечера Робу Самсонова можно было увидеть в единственном ресторане города, где он пел с низенькой эстрады свою знаменитую «Черемшину» — пел, закрыв глаза, с горловым надрывным сотрясением, пел не ради вознаграждения или славы, а чтобы в песне высказать свою боль. И его понимали и приглашали то к одному, то к другому столу, и он присаживался не сразу, а заставлял себя упрашивать, стоя у стола...

Теперь же утренняя улица была пуста, тротуар безлюден, и шел по нему не шестнадцатилетний юноша после свидания, а человек примерно такого же возраста, как знаменитый Роберт Самсонов в пору своего заката. И у этого человека больше не было прошлого, бесценного в воспоминаниях, потому что прошлое имеет смысл только для того, кто живет, располагая будущим. А он знал срок своего будущего. Кто не знает подобного срока, тот на деле владеет вечностью впереди, — тому владеть и мириадом солнц и лун прошлого, легендами древности, отвагой ее героев и всей истории человечества, как своей собственной. А если впереди всего месяц жизни, то и позади не больше. Месяц же назад был впервые определен диагноз его болезни, которую еще не умеют лечить на Земле; и далее ничего не было, кроме болезни, — и вот он, день сегодняшний.

Подходя к морю, приближаясь к сияющему куполу света над ним, он шел мимо бараков, мимо крошечных огородов с картошкой, луком и редиской да мимо клуба «Салют», прозванного в городе «киносараем» за свой неуютный, амбарный вид.

Он поднялся последним крутым проулком наверх — и увидел в створе двух соседних заборов темно-сине-серое могучее тело утреннего моря. Остановился возле глухой дощатой стены тихого домика и в последний раз оглянулся назад. Город и жители его, которых он знал когда-то, много лет назад, и медсестра Света, и все знакомые улицы, и все дома, и высокие трубы дымящих кочегарок — все это оставалось позади, он же уходил один к морю.

Далее путь его продолжался влево, по полотну железной дороги, ведущей к соседней шахте, и насыпь была обметана сугробцами и барханчиками песка. Вдоль железной дороги тянулся ряд последних домиков города, которые чем дальше уходили к пустынным дюнам, тем становились мельче. И самые крайние домики были совсем крошечные, хрупкие, легкие на вид, словно ящики из сухих, звонких дощечек. Иной домишко был всего об одно глухое оконце. Цвета эти домики-скворечни были того удивительно серого, матово-серебристого, который так подходит к светлому песку и благозвучной гамме сахалинской марины, — цвет такой приобретает некрашеное дерево после долгого мытья дождями и влажными туманами, после многолетней работы над ним солнца и соленого морского ветра, после терпеливой шлифовки его летящим над землею песком. Карликовые огороды возле домов были обтыканы по краям палками, бочарными клепками, обнесены сверх этого кусками рыбачьего невода — иной огородик был весь накрыт полуистлевшей сетью. Человек шел мимо них, вновь вглядываясь в то, что он любил, оказывается, всегда и чего никогда не забывал.

Но главным, самым главным, могучим — и самым необъятным после неба — было здесь море. Оно, свинцово-синее, отсвечивающее у горизонта зеленью, сейчас только просыпалось — широко зевало пастью наворачиваемых на мель волн. И ревел прибой, словно стадо растревоженных медведей, и песок на самой кромке берега был при наливающемся свете утра смуглым, как горбушка хлеба. На плавной и широкой зыби, из которой и рождались у берега прибойные косматые волны, — на гладких бегущих грядах зыби блистал отсвет серебра и меди рассветного, чуть хмурого неба.

А оно — необъятное и необозримое в высоту и ширь — по всему своему яркому, напряженному фону было испещрено серыми и синими мраморными прожилками. И, глядя на это великое небо, человек шел, робко улыбаясь, испытывая щемящее желание молитвы.

На пути его стоял по колено в воде отмели рыбак, перед ним кипели буруны. Рыбак быстро-быстро вращал катушку спиннинга, приподнятый конец гибкого бамбукового удилища гнулся — далеко, за буруном, кувыркнулась на гребне бегущей волны рыба, сверкнула серебром. Больной человек прошел мимо рыбака и подумал, что сейчас самое счастливое существо на свете — этот рыбак, — и встреча с чужим счастьем не принесла ему боли. Невозможным для словесного объяснения было то, что его собственная беда, соприкоснувшись с этим рыбацким счастьем, и с безвестной красотою прибрежных бедных домиков, и с торжеством встающего над морем утра, — беда его перевоплощалась в этот миг в безмерную радость. Он прошел мимо рыбака молча, но два раза издали с улыбкой оглянулся на него.

Он ушел довольно далеко от прибрежной слободки — и вот наконец предстало его глазам давно избранное им место. У левого крыла полукруглого залива выдавалась в море длинная песчаная коса. Два домика стояли на ней. Меж домиками темнело одинокое дерево. Гладкая отмель окружала косу с трех сторон. Пенные буруны гудели далеко за отмелью.

Место это называется Камарон. Напротив мыса в море, над видимой дальней границей его, иногда появляется остров — голубым сгустком в плывущем над водою жемчужном небе. Видение острова предвещает непогоду, хотя и возникает всегда в ясный день, под опрокинутым чистым небом, и море стелется тихое, ровное по всему четкому горизонту. Когда же на море шторм, оно покрывается острыми зубцами белой пены и могучие волны несутся на узенький мыс, как бы желая смыть его, но еще ни одна волна не накрывала песчаный Камарон. Когда-то здесь располагался небольшой рыбачий поселок, но давно он был покинут людьми, и уцелело от него всего два домика под крышами — остальные обрушились стенами на землю. И стоят эти два домика совсем недалеко от воды, за кромкой берегового песка и полосой жесткой, остролистой травы, словно покорно ожидая от моря последнего, неумолимого удара. И возможно, что набежит когда-нибудь та большая волна, что перехлестнет через косу и унесет домики, но человек, живущий теперь в заброшенном поселке на Камароне, об этом не думает.

Камарон похож на зазубренный старый нож, который нацелен своим острием на далекий, призрачный остров. Здесь всегда безлюдно, и потому кажется, что время больше не совершает своего сложного и неуклонного движения. А шевеление моря в прилив или отлив и нескончаемый набег длинных волн словно не рождают минут и долгих часов — чисто человеческого достояния, и кажется, что песчаный мыс с двумя домиками на себе неспешно плывет, словно корабль, к далекому острову.

Здесь происходило много событий. Песок обрушивался со склона высокой дюны, когда пробегала по нему собака, падали чайки грудью на воду, приходил на чистый пляж человек и всем телом приникал к шелковистому ложу. Высокое изменчивое небо являло, убирало и вновь творило свои картины. Но события, рождаемые движением живых и неживых частей мира, свершались и безмолвно исчезали во времени, не оставляя после себя долгого отзвука в приморском воздухе, — лишь неумолчно гремел прибой да тонко вскрикивали подхваченные ветром чайки.

Прошедшее время неуловимо, нет у него ощутимой субстанции, и не вынуть изо всей громады прошлого даже малого грана его — кристалл секунды тает мгновенно, как пушистая снежинка, упавшая на теплую ладонь. Прошлое время иные люди представляют протяженным, как нить, а иные — как влекомое ветром, клубящееся, изменчивое облако. Но и в том, и в другом случае к истраченному времени память может прикоснуться лишь в какой-то его части.

И пусть это будет мгновение глубокой ночи, пусть невидимо гремит рядом океан и в бездонном каменно-синем ночном небе вдруг вспыхнет и ринется вниз звезда, отделившись от сонма подруг, — падучая звезда печали. И в полете своем распадется на три части — на три огненные дорожки разных судеб.

Пловец уходит в море

Теперь конец июля — время на Сахалине самое лучшее, дозревший плод солнца сочится желтым медом и жарче греть уже не в силах. Счастливое лежбище купальщиков гомонит и возится на песке, заняв весь покатый пляж на правом крыле ровного лукоморья. Берег расцвел яркими, разноцветными лепестками купальных костюмов, черные тени бегут вслед за бегущими и лежат рядом с лежащими. Морской извечный шум дробится от пестроты звенящих человечьих голосов. Перед густо-синим лазуритом моря светятся оранжевые тела людей, они гоняются друг за другом, играют в мяч, лежат на песке или сидят, обняв колени, борются, вскидывая пятками песок, носят на руках женщин и детей, поднимают над запрокинутым лицом бутылки с питьем, играют в карты,

усевшись в кружок. Надевают и снимают темные очки, встряхивают на ветру одеяла и потом расстилают их, неподвижно стоят и смотрят в море, в небо, на далекий голубой остров, на зеленые сопки побережья, прыгают в набегающих, янтарных на изгибе волнах и плывут по воде.

На это радостное морское игралище пришло все здоровое и свободное от работ население города. Выйдя из сырой шахты, забойщик утренней смены спешил скорее домой, грохоча сапогами по деревянным мосткам тротуара, и струился из-под каски угольный пот по лицу его, — а час-другой спустя он уже болтался по горло в соленой, чистой, прохладной воде, шевелил на плаву руками и ногами, и под ним на песчаном белом дне, освещенном солнцем, шевелилась его тень, словно громадный краб. Мимо проплывала юная нереида, вся в жемчужных пузырьках, кипящих вокруг нее, размахивая над водою руками и поворачивая улыбающееся лицо на каждый взмах, — и то была не бессмертная морская дева, а швея-мотористка Рая, что утром еще сидела за тарахтящей машинкой и, сдувая в сторону свисающие со лба кудри, гнала по шву изделия ровную строку.

Горторг выпустил в продажу партию красных купальных костюмов, и теперь по всему широкому пляжу алели они под солнцем, огненно пылая на девушках, словно лепестки дикого мака на пестром лугу. Вдруг отделялся один лепесток от земли и перелетал к морю, и, выплеснув из себя радостный фонтанчик визга, девушка бросалась в набегающую волну. А после, выходя из воды, купальщица была уже не так ярка, как прежде, — алое на ней становилось коралловым, угаснув в море, и по гладким плечам ее стекали блестящие струйки, и мокрые пряди волос метались на ее сплошь открытой спине.

Над кругом приподнятых голов взлетел темный мяч, повис на мгновение и потом стал опускаться, и ударил по нему гибкой рукою загорелый и ладный волейболист, и мяч со свистом ядра пронзил воздух, ударился об кого-то с гулким звуком своей пустоты и упал на песок, угас, покачнувшись на круглой своей тени. Подбежала и нагнулась к нему, свесив на песок длинные бронзовые локоны, нереида с облупленными красными плечами, и дохнуло ей в лицо теплым запахом кожаного мяча. И все игроки стояли и ждали, когда она выпрямится, напряглись, когда она подкинула его над головой и выставила навстречу ему розовые лепестки своих ладоней.

Полуяпонка Тоня Охара, известная всем в городе продавщица гастронома, сидела возле зеленого куста шиповника, на котором качалось всего два лиловых цветка, два облетающих розана. Обняв полное колено, склонив голову в белой полотняной кепочке, смотрела Тоня на разлегшегося у ее ног, словно здоровенный зверь, курчавого детину. «Сейчас я тебя!» — пригрозила Тоня и, подхватив горсть песка маленькой рукою, бросила в кудри собеседника. Тот вскочил и замотал головою, прижмурив глаза, с улыбкою на ослепшем лице. Звонкий смех Тони Охара разлетелся далеко вокруг, со всех сторон на нее оглядывались.

Летала бабочка над волнами у самой кромки береговой земли. Блестя на изгибе, набухала литая волна. Тысячелетние горячие камни сидели в песке, в своих влажных гнездах. Порхала белая бабочка, принесенная сюда ветром с цветущих склонов сопки. Волна круглилась — и вдруг на миг обретала и блеск, и плотность драгоценного самоцвета. Волна падала — и в шипении, журчании воды плелось белоснежное кружево пены. А бабочка летала, кружилась над берегом океана. В глубине его виднелся пароходик — соринкой в прозрачной и чистой голубизне. Кто-то из играющих на берегу смотрел на него и думал: сказочные уходят корабли в море... плывет он или стоит на месте? А бабочка все летала над волнами — светлое, радостное дитя в распашонке.

Вдоль пляжа шла моторная лодка, в ней сидел солдат городской пожарной команды Витька Бурсой. Множество любопытных глаз сопровождало медленным движением неторопливый ход лодки. Бодро и далеко слышно постукивал мотор. Глаза наблюдающих — все сотни, а может, тысячи пар — выражали одно и то же чувство, одну и ту же мысль... Жарко, ох как жарко, славно! Блаженно смежаются веки. Витька Бурсой наловил, должно быть, пол-лодки рыбы — вон как осела в воде посудина... На солнце горячо, и песок горяч, и, когда вдыхаешь напоенный зноем воздух, сладкая дрожь истомы вдруг пронзит грудь и на мгновенье пресечет дыхание.

Вскоре Витька Бурсой подогнал моторку к речному устью, где безустанно взмахивали высокие волны, словно стремясь ворваться в реку, — там лодка взметнулась носом вверх, затем пала вниз. Преодолев волны, лодка пошла по спокойной речной воде.

Вдруг она резко повернула к берегу. Мотор смолк, словно оборвался, и в тишине моторка ткнулась носом в речной берег. Витька Бурсой решил пройти по суше до железнодорожного моста, разведать, не караулит ли там его жена Нина. Если стоит на своем посту и заметит лодку, то все пропало, рыбу пойдет продавать на базар она, Витьке ничего не достанется.

Он снял рубаху, штаны, чтобы быть незаметнее, и в длинных трусах семейного покроя направился вдоль берега к мосту. Пляжный народ был несколько в стороне, здесь же, возле устья, было безлюдно, только лежала на полосатой подстилке одинокая женщина, старательно повернувшись лицом к небу. Бурсой издали приметил ее черные очки, незагорелое ослепительное тело с голубоватым провалом пупка, рыжие волосы, закинутую над головою полную руку и золотистый блеск подмышек. Он прошел мимо.

Но шагов через тридцать он приостановился и вдруг пал грудью на берег. Тихо рассмеялся и подгреб к своим соскам горячий песок. А затем развернулся и на четвереньках пополз назад. Женщина глядела в небо, не шелохнувшись, яркая груда одежды лежала рядом с нею. Витька Бурсой подполз и приземлился возле самых ее ног. Таких узких розовых ступней с

бледной нежной выемкой и таких пальчиков пожарник еще никогда не видывал. Он вздохнул и, найдя соломинку, принялся щекотать эти прекрасные ноги.

Женщина быстро села и показалась ему огромной — головою подпирающей небо. Медные волосы ее разметались среди белых небольших облаков. Две сочные половины ее пухлого рта зашевелились, затем началось:

— Чего тебе, бессовестный?.. Как не стыдно...

И тут Витька Бурсой увидел позади ее полного плеча, где-то вдали, стоявшую на белой дюне лошадь. Все было как обычно: медные волосы женщины шевелил ветер, мелькнула в небе ворона, море за дюнами ровно шумело. Однако лошадь, стоявшая на песчаном возвышении, была совершенно красного, словно спелая клюква, небывалого цвета. Но задержать внимание на столь необычном явлении пожарник не успел, женщина продолжала честить его, и он зажмурился и заткнул себе уши пальцами.

Затем помолчали. За рекою сверху, с сопки, спускался мальчишка, ставя ноги боком на крутой склон. Под сопкой проходила дорога, на которой сейчас было пусто. Витька лежал и почесывал одной ногой другую. Это был плотный, но совсем коротенький человек. Фамилия же его была Большое. Из-за подобного сочетания корейцы города прозвали его Бурсой, что означало — большой. Прозвище так и прилипло к нему. Вдруг со стороны железнодорожного моста подошла к ним толстая, широкоплечая женщина, жена пожарника Нина, она сжимала в руках обломок серой коряги.

— Ты чего сюда приплелась? — начал выговаривать ей Витька, живо вскочив с земли.

— Пошел вон отсюда-а... кобель! — трубным голосом произнесла жена и взмахнула дубинкой.

— Ты не махай напрасно, а то я те махну! — угрожал пожарник, отступая.

— Пожилой человек, а не стыдис-си! Иди, иди, говорю! — скандалила Нина. — Моторку бросил, разлегся тут. Дома дети жду-ут!

— Да погоди ты! — в сердцах взревел муж...

Так они вместе и подошли к лодке, и Нина взошла на нее, Витька же Бурсой нагнулся к мотору.

— Люди вон живут на свете и помирают, — сквозь зубы бормотал он, чуть не плача, — так у них есть что вспомянуть перед смертью. А чего хорошего я видал от тебя, Нинка моя, чего? О чем ты только думаешь головой своей?

— Я думаю об нашей обчей семейной жизни, — с достоинством отвечала Нина и вдруг заплакала. Она во время скандала ни разу не оглянулась на рыжую незнакомку, однако адресом своих речей разумела именно ее.

— Ну и думай, дура! — свирепо выкрикнул Витька, не выносивший жениных слез, рывком завел мотор, столкнул лодку в воду, но сам, перегнувшись через борт, живо схватил штаны и рубаху с банки и остался на берегу. Лодка же, безнадзорно стуча мотором, плавно и быстро двинулась по реке.

Нина ахнула, всплеснула руками и стала торопливо перебираться на корму, к мотору, по пути топча наваленную на дно лодки рыбу.

— Бхай, Нинка моя! — кричал вслед пожарник, грозя кулаком. — Продавай рыбу, нагребешь денег карман! А я еще погуляю!

Плачущая жена ничего не ответила. Убито склонившись над рулем, она правила лодкой, держа ее посередине реки. Торжествуя, пожарник обернулся назад, но увидел, что женщины на старом месте нет. Убежала красавица. И Витька Бурсой испытал горькое разочарование.

И тут он почувствовал также, что должен вспомнить и еще нечто другое, не проясненное до конца и странное. Но что? Держа перед собою штаны, чтобы можно было их тотчас надеть, пожарник задумался.

«Красная лошадь! — вспыхнуло в голове. — Так где же она?» Витька Бурсой оглянулся окрест, проверил внимательным взором все песчаные бугры, но никакой лошади нигде не увидел. А ведь была же она! Стояла, кажется, вон на той пологой дюне — небольшая, стройная и совершенно красная, словно плюшевая игрушка для детей... Нет же, исчезла теперь и она.

И тут вспомнил он, где раньше видел красную лошадь. У них дома на комоде стояла гипсовая лошадка, любимая Ниной. И вот однажды дочка выкрасила ее всю красной тушью. Мать выдрала ее за это, а отцу девочка объяснила, что хотела сделать себе пожарную лошадь, такую же красную, как и машина у него на работе. Он тогда посмеялся, приласкал зареванную дочь, а теперь вдруг рассердился на нее. «Вот я тебе... приду домой», — пригрозил он про себя ни в чем не повинной дочери, оделся и пошел куда-то в необъяснимой, смутной печали.

Вскоре он бездумно выбрался на железную дорогу и направился по шпалам к мосту, вдоль морского берега. Шагая по насыпи, Витька Бурсой томился в своей печали — и вдруг увидел перед собою обнаженного по пояс человека. То был Эйти, стройный, крепкий парень, носивший маленькие черные усы, — он волоком тащил рубаху. Коричневое тело его блестело на солнце, чуткие мускулы прыгали под тонкой кожей, он весь был оплетен этими сухими и крепкими, как корни, мускулами.

Парень стоял, широко расставив ноги, положа правую, руку себе на левое плечо, будто собираясь рывком повернуть тело или что-нибудь другое сделать, потому что ему было скучно просто ходить по земле, просто жить и двигаться. Эйти смеялся, широко раздвинув белозубый рот, над которым изгибались молодые усики.

— Чего такой невеселый, Витька? — спросил он у пожарника. — Выпить хочется?

— Выпил бы, — нехотя проворчал тот. — А ты куда двигаешься, паря?

— Купаться. Хочу на остров поплыть. Как ты думаешь, доплыву? — И Эйти показал рукою в сторону ровного горизонта, над которым, чуть поднявшись в воздух, четко синел треугольник далекого острова.

Не было на побережье другого такого пловца, как Эйти. Много раз Витька Бурсой, владелец доброй моторной лодки, встречал его в открытом море, и парень здоровался с ним, протягивая руку через борт лодки. Но, несмотря на это, сейчас Витька печально покачал головою и ответил:

— Нет. Туда никто не доплывет. Утонешь.

— Вот ты даешь, Витька! — воскликнул Эйти. — Не знаешь, что ли, как я плаваю!

— Не хвастай, — предостерег пожарник. — Сиди лучше, парень, на берегу.

Он накрыл верхней губою нижнюю, затем наоборот и, подняв глаза, с трезвым и степенным видом уставился вдаль, на голубой остров. И увидел, как над ним вдоль белого тугого облачка летит крошечная, словно комар, алая лошадь. Но Витька Бурсой тряхнул головою, прогоняя бессмысленное видение.

— Сам сиди на берегу! — весело ответил ему Эйти. — А я все равно поплыву.

— Ну и плыви.

— Ну и поплыву!

Покинув хмурого пожарника, направился дальше. Эйти работал на шахте забойщиком, у него была красивая жена Ако, имелся годовалый сын, который день и ночь орал, развивая свое дыхание. Эйти женился на Ако по большой любви, но вот прошло время, родился ребенок — и Эйти теперь не знал, что такое любовь. Ему порою казалось, что красота жены коварная маска, за которой скрывается что-то непонятное: скучное, может быть, глупое. Ако стала ходить по дому небрежно одетая, целые дни сосала конфеты и не умела ни еду приготовить, ни содержать в порядке дом. Она только хныкала и жаловалась, что устает, ревновала его и в то же время умоляла не приближаться к ней, боясь вновь забеременеть. И он, наперекор ей, стал уходить из дома, напивался в ресторане и затевал драки. Часто уплывал он далеко в море и оттуда с грустью разглядывал едва заметную полоску земли, на которой так скучно устроилась его жизнь. Но все равно надо было возвращаться назад, жить и работать дальше. И надо было что-то сделать, пока ему всего лишь двадцать три года.

Ако пела — уверенным, сильным голосом, как знаменитая Эдита Пьеха, не различишь их. Еще до замужества Ако ездила в Южно-Сахалинск, чтобы попытать судьбу — учиться пению или сразу же стать артисткой, если повезет. И ей судьба улыбнулась: предложили Ако петь в вечернем кафе, и она согласилась, сшила себе длинное, до пят, платье, но потом струсила и в день первого выступления уехала домой. Ей наговорили, что артистки живут легкомысленно, пьют вино и распутничают, а подобного Ако не могла допустить. Она любила Эйти и хотела выйти за него замуж. И это осуществилось, — но почему-то она потускнела. Она по-прежнему пела, украшала собою застолья, но теперь и это выходило у нее по-другому. Вот в честь рождения второй дочери такелажника Хона собралась у него мужская компания, засиделись до полуночи, и вдруг прибежала за супругом Ако. Юбка на ней была напялена криво, на руках болтался сонный ребенок. Она принялась было за Эйти, но все гости дружно насели на нее, уговорили, затем потребовали, чтобы она спела. И, держа спящего сына на руках, тихо покачивая его, Ако возвела кверху свои огромные влажные глаза. Она запела, сначала тихо, затем все звонче и шире — и вскоре с той непонятной в этой простушке силой и страстью, которая вызывала у слушателя тревогу, радость и слезы... И тогда же Эйти, сидевший на полу возле печки и куривший, пуская в печную дверку дым, вдруг глухим приятным голосом стал подпевать жене: «В зеленой куще жизни мы играющие дети...» И он в ту минуту любил ее со всей силой прежней юношеской любви. Но вдруг проснулся сын, заорал благим матом, и Ако стала шикать, укачивать его, мотаясь всем туловищем вверх-вниз. Ребенок не умолкал, и тогда Ако, не стесняясь других, вынула из блузки длинную грудь и сунула в орущий ротик сына. И тут Эйти, словно очнувшись от чар, увидел, что прибежала Ако босая, в старых калошах, что волосы ее в беспорядке, — как лежала, так и вскочила и понеслась, наверное. И по дороге домой Эйти свирепо ругал ее за эти волосы, калоши. А когда он, войдя домой, запер на крючок дверь, то вдруг ощутил смутный страх из-за того, что вот двое они оказались заперты в одном маленьком деревянном помещении... Жена требовала, чтобы он вырыл сливную яму во дворе и устроил на кухне канализацию. Поговаривала о купле поросенка, — у них ведь имеется совсем свободный сарай... И, глядя на нее, зареванную, с опухшими глазами, судорожно шмыгающую носом, Эйти вдруг почувствовал огромную обиду на жену. Ему подумалось, что Ако одна во всем виновата и что из-за нее любовь их постепенно превращается в какие-то две тонны угля, в домашнюю канализацию, в хрюкающего поросенка, которого надо где-то купить и в мешке принести домой... А вокруг огромный мир, огромная ночь, и они одни в маленьком домике, сын уже давно спит.

А вскоре Эйти надумал учиться играть на аккордеоне. Он стал ходить в свободное время к Масико, подруге своей жены, у которой имелся этот блестящий певучий инструмент. Масико была соломенная вдовушка, муж ее за драку на танцплощадке попал в тюрьму, она жила с маленькой дочерью в квартирке из двух комнат, которые являлись половинками одной небольшой комнаты, перегороженной фанерной стенкой. Однажды Эйти закончил музыкальный урок и подсел к Масико, которая что-то шила, склонившись к настольной лампе. Эйти после музыки чувствовал себя тихим и добрым. И он разговорился с Масико, рассказал ей сказку о птице Феникс, приносящей счастье. Затем он добавил, что если бы птица досталась ему, то он не пожалел бы и отдал ее Масико, чтобы ей не было скучно коротать одинокие вечера дома. Масико усмехнулась и посоветовала ему подарить птицу своей жене. И вдруг Эйти почувствовал, что Масико желанна ему так, как никогда

не бывала желанна Ако. Масико была меньше ростом и тоньше, но плечи ее крепче и круглее, а на лицо ее Эйти мог смотреть с таким же безмолвным восторгом, как если бы он заглядывал в ночное, светящееся окно лесной хижины, где живет белая лесная фея, сказку о которой рассказала ему Масико в ответ на его сказку о птице Феникс. То была печальная история о беспредельной верности жены непутевому мужу. И Эйти, поняв намек Масико, вскоре попрощался и ушел домой... Через несколько дней Масико дала ему кулаком по носу и навсегда выставила из своего дома.

А сегодня, проснувшись поздно, ибо накануне он пришел с ночной смены, Эйти не услышал в доме ни воплей сына, ни домашней стукотни Ако: жена, видимо, оставила ему на сковороде макароны с котлетами, а сама ушла с ребенком в гости к матери. Эйти поднялся с постели и вдруг почувствовал, что сегодня произойдет что-то еще небывалое. Сердце его начало звучать, как издали слышимый прибой.

И вскоре он шел к своему любимому морю, снимая на ходу рубаху, и думал: что же, что должно произойти? И, выйдя по железной дороге на морской берег, он увидел на горизонте широкой пустыни моря голубой далекий остров — и сразу понял, что должно произойти. Он поплывет к острову сегодня, сейчас. Давно, с мальчишеских лет, ему хотелось добраться вплавь до острова, но никто прежде не совершал подобного, и он тоже не смел. Но сегодня Эйти решился.

Он миновал стороною многолюдный пляж и вскоре вышел к Камарону. На краю песчаного мыса сидел старый кореец До Хок-ро, неподвижный, как седые коряги, камни и дюны вокруг него. Эйти приблизился к старику на расстояние, которое, казалось ему, не нарушит покоя и одиночества До Хок-ро. Усевшись на песок, Эйти стянул с себя узкие джинсы, скатал вместе с рубахой в один узел и закопал в песок под большим стволом наносного плавуна. Затем встал на руки и пошел по сырому песку береговой кромки. Набежала слабая волна, растеклась, край ее захлестнул руки Эйти, и он вновь вскочил на ноги. Проделав все это, Эйти мужественно улыбнулся и крикнул, обращаясь к соседу по уединению:

— Дядя Хок-ро! Я поплыву до острова. Он же совсем близко, кажется. Часа за три доплыву. Нет, скажешь? — закончил он вопросом по-русски.

Старик не отвечал, безучастно глядя перед собою. Под вылинявшей серой кепкой лицо его было темным. Эйти рассмеялся.

— Вот ты даешь, старик, — сказал он. — Его спрашивают, а он не отвечает. Живешь ты и сам не знаешь, зачем живешь. Все капусту морскую собираешь? Ну-ну, собирай! Будь здоров, старик, — попрощался он, затем добавил: — Эй, дядя Хок-ро! Если завтра начнут искать меня, скажи всем, что Эйти утонул в море.

И, сказав это, он взмахнул рукою, опять рассмеялся и, широко ступая, вошел в море. Он направился по мелководью отмели к глубине, оставляя позади себя быстро тающую, пузырящуюся дорожку.

Старик остался один на мысе. Он глядел вслед уходящему в море пловцу и думал о том, что каждое расставание с другим человеком может оказаться, в сущности, последним расставанием. Поэтому, чуть погрустив в первую минуту разлуки, надо успокоиться и постараться все позабыть. До Хок-ро думал о событиях недавнего времени, которые произошли на пустынном морском берегу, объявшем это ровное лукоморье.

Он не умел считать деньги

До Хок-ро еще весною занял один из пустующих домов на Камароне. Он облюбовал себе тот, что был поближе к морю и подальше от города. С тех пор как у старика украли деньги, он не боялся жить один, не боялся грабителей. Теперь лето, живая душа может просуществовать где угодно, была бы пища. Раза два в неделю навещала старика Масико: добрая женщина, для которой он собирал морскую капусту, приносила ему еду. На Камароне старик думал прожить до холодов, а зимою, может быть, его снова пустит к себе старик Ю, лесоруб. Своего угла сейчас у До Хок-ро не было, потому что дворницкую хибарку его снесли и велели перебираться в общежитие, к парням, но там старик не стал жить и зиму пересидел у доброго лесоруба. Теперь же ко всему До Хок-ро бросил свою работу дворника и остался совсем без дела, как вольный воробей.

Когда До Хок-ро идет по городу, все смеются над ним. Смеялись и раньше, но тогда у него был заветный мешочек, куда он клал все деньги, которые платили ему за то, что он подметал двор шахтовой конторы. Каждую бумажку он сворачивал много раз, до величины ногтя, и такими свернутыми бумажками мешочек уже был набит туго. И глупые люди могли смеяться, смеяться сколько угодно — До Хок-ро шел себе, ни на кого не глядя, он-то сам знал себе цену. Раз старик даже бросился с кулаками на одного мальчишку, который повернул на нем кепку козырьком назад. Рыжеголовый сопливый мальчишка вскрикнул и вырвался из его рук, а До Хок-ро, разойдясь, кричал ему вслед и сердито топал ногами. Так бы и жил старик до сих пор, уверенный в себе и богатый, но в книге судеб, видно, записан несчастливым До Хок-ро.

Начальнику Шину понадобились деньги. Начальник мог занять у любого из шахтеров, стоявших вокруг, но обратился именно к До Хок-ро. Все засмеялись, они-то знали, что старик съедает остатки их обеда в шахтовой столовой. Люди думали, конечно, что это он по бедности. И пускай бы думали так, но тут его словно шилом ткнули в задницу — рассердился, что начальник смеется над ним. И на глазах у всех До Хок-ро отвернулся к стене, расстегнул штаны и вытянул свой брезентовый мешочек, висевший

на веревочке. Веревочка эта была крепко обвязана вокруг пояса старика.

Вспоминая о своей глупости, До Хок-ро больно дергал себя за ухо, мотал головой и крепко жмурился. Ну что он приобрел, поддавшись минутной гордыне? Ничего. А что потерял? Все потерял, что скопил за долгие годы. Всего минуту продолжалось его торжество, глупое, ребячье торжество. Толстый начальник смотрел с таким лицом, будто во рту держал горячую картофелину, остальные вокруг все примолкли. До Хок-ро развернул зеленую бумажку, протянул Шину и сказал: «Вот... Если надо, берите еще». С этого дня и пошла слава До Хок-ро.

Холостяки лесорубы стали приглашать его на свои пирушки, хотя он и гроша не добавлял в общую кучу. Старик Ю пустил его к себе, когда будку во дворе конторы, где жил До Хок-ро, поломали. Лесорубы сами были народ денежный, и они уважали До Хок-ро, ценили его серьезное отношение к жизни. Давным-давно, еще при японцах, они все, завербованные в Корее, приехали на Сахалин, чтобы заработать и с деньгами вернуться домой, но с тех пор застряли здесь и постепенно утратили связь с семьями: ведь было две войны в Корее, считая с сорок пятого года, эти войны и разметали семьи лесорубов. И теперь деньги были тем единственным, что сохранила для них судьба взамен неудавшейся жизни.

Шутники лесорубы, как-то сговорившись, решили женить До Хок-ро. Однажды вечером они привели к нему самую известную женщину города, прозванную среди холостяков Цветочным Горшком. Эта женщина, нечистая и толстая, навалилась тяжко и все щекотала До Хок-ро. Она теребила старика и рукою тянулась к его деньгам, а он отталкивал эту руку и так смеялся, что весь взмок и даже во лбу у него заломило от смеха. Он объяснил ей, что хочет на двор, а сам вышел из дома, убежал и ночевал в сарае пожарной охраны и три дня потом не приходил к старику Ю. До Хок-ро знал, что эта женщина побывала в женах почти у каждого лесоруба и очень разбогатела. Но своих денег он не хотел тратить на нее, женщин ему не нужно было, ибо он никогда не знал их тайны. Беда пришла с другой стороны.

Витька Бурсой, пожарник, был человек беспокойный, добрый и шумный. В столовой он не раз сажал рядом с собой До Хок-ро и угощал мясом, за которое платил свои деньги. Он много и громко говорил, хлопая старика по спине тяжелой рукой, близко придвигая к нему лицо. А порою он, смолкнув, наливал полстакана водки и подавал До Хок-ро. Старик водку выпивал, она давала ему какую-то необыкновенную силу. И тогда До Хок-ро чувствовал, что он тоже веселый человек, веселее, пожалуй, всех. И он принимался петь песни и плясать. А вокруг него тоже начинали веселиться — в столовой ли, на улице, — и это было хорошо. Однажды Витька налил ему полный стакан. Старик испугался сначала, столько он никогда не выпивал разом, но Витька ухватил его за плечо, стал трясти, уговаривать, совать стакан под нос, — и, зажмурившись, До Хок-ро выпил. Потом он, кажется, выпил еще сколько-то, а после, что было, уже не помнил. Очнулся он на земле, за конюшней. Штаны его были расстегнуты, мешочек с деньгами исчез — кто-то срезал его с веревки. И, схватившись за эту веревку, До Хок-ро заплакал. Он просидел за конюшней до глубокой ночи. А на другой день он встретил Витьку, и тот первым подошел к нему и хлопнул рукой по плечу.

До Хок-ро отстранился и, строго глядя ему в колени, сказал: «Деньги дай». Витька выпучил глаза, стал кричать, махать руками, а потом разорвал на себе рубаху и стал кулаком бухать по голой груди, словно вознамерившись пробить ее рукою. Плюнув на Витьку, До Хок-ро пошел жаловаться начальнику Шину. Тот выслушал и сначала заинтересовался.

— Сколько было денег? — спросил он.

— Много, учитель, — ответил До Хок-ро.

— Ну, сколько примерно? — опять спросил Шин. Он важно глядел в потолок.

— Очень много...

— Послушай, Хок-ро, — проговорил неторопливо начальник и толкнул стол круглым животом, — мне жалко тебя. Но если ты не скажешь, сколько было денег, то как я напишу бумагу в милицию?

— Я восемь лет не покупал себе еды. Свой уголь, что шахта выдает, я продавал другим. Для себя я только два раза покупал резиновые сапоги, — объяснял До Хок-ро, утирая рукою под носом, куда сбегали слезы из глаз. Он стоял перед столом, сгорбленный, ростом не выше сидящего на стуле начальника. Шин строго прикрыл глаза. Он выдохнул шумно воздух.

— Ты человек необразованный, ты даже не член моего профсоюза, — задумчиво проговорил он, не открывая глаз. — И хорошо, что так, а то бы я тебе показал...

У До Хок-ро от стыда кончились слезы. Он молчал. Он так и не вступил в профсоюз, потому что туда, говорят, надо платить.

— Какой дурак хранит все деньги при себе! — закричал вдруг начальник.

— Так мне их вернут, учитель? — спросил До Хок-ро, низко кланяясь, хотя Шин не мог видеть этого — он сидел с закрытыми глазами, положив оба своих кулака на край стола.

— Деньги надо в сберегательной кассе держать, — усталым голосом, будто во сне, проговорил Шин.

— Я не знал, где эта контора находится, — начал оправдываться До Хок-ро, продолжая кланяться.

Но начальник не отвечал. Он дремал. Он имел за свою жизнь трех или четырех жен. Сейчас его женой была Лариса, учительница, моложе Шина на двадцать лет. Она не хотела больше жить с ним, грозилась уйти. За многоженство Шина вскоре и уволили. Он уехал на материк с новой женой — четвертой или пятой. Но пока что он сидел в своем кабинете за столом и спал. И снилось ему, что он начальник Шин, а

жена у него Лариса, учительница. Очнувшись нескоро, он никого перед собою не увидел — старик ушел уже, и о его деле Шин тут же позабыл. Его одолевали алименты, геморрой и молодая жена.

До Хок-ро еще раз было пришел к нему, но в кабинете шло собрание. Шин произносил неторопливую речь перед притихшими шахтерами-корейцами. Старик заглянул в дверь, на него замахали, он ушел. Шин встретил его как-то на улице и спросил, почему тот не заходит к нему по своему делу. До Хок-ро ничего не ответил ему, прошел мимо. Начальник удивленно и гневно смотрел вслед. Он не знал, что До Хок-ро уже перестал подметать двор шахтовой конторы и ушел жить на Камарон. Старик стал собирать для Масико морскую капусту, ловить раковины и улиток на отмели.

Сначала старику было страшно на Камароне по ночам — море шумело, выл ветер, песок сыпался через подоконник. Но До Хок-ро слепил из старых кирпичей печку, нашел жестяные трубы на свалке, вывел через окно наружу — и жить стало приятнее. А вскоре появился на Камароне этот незнакомец, и он доставил много хлопот старику и Масико, но никакого зла или обиды они от него не знали. Это был тихий, больной русский человек, за все время До Хок-ро не перемолвился с ним и десятком слов. Странными глазами смотрел он вокруг себя — на море, на сопки, на старика и Масико, на песок возле своих ног, — на все смотрел одним и тем же долгим грустным взглядом. Словно пытался что-то понять и сам знал, что ничего уж не поймет. Он сначала курил, вытягивая папиросы из помятой, порванной пачки, но, докурив эту пачку, больше уже не курил. Ничего он не просил для себя, ел то же, что и До Хок-ро, спал не раздеваясь, а иногда даже не снимая обуви. У него были часы, но он не заводил их, а однажды сняв и бросив на подоконник, больше уж не притрагивался к ним. Масико, возможно, что-то и знала о нем, но До Хок-ро осталось неизвестным даже имя его, — да это вовсе и не нужно было старику. До Хок-ро жил в настоящем, но столь призрачном, что прошлое оказывалось порою намного ярче настоящего, и он начинал что-то бормотать себе под нос — бредить прошлым среди ясного дня. Но и прошлое для него хранилось не целиком и в строгой последовательности, а как бы отраженным в осколках разбитого зеркала времени, и старик часто не знал, что было раньше, а что позже, — да и это было не важно для До Хок-ро.

Боги не забывали его

Однажды он шел по улице, держа перед собою и внимательно рассматривая пеструю баночку. Только что купил ее в магазине. Правда, ему нужно было купить топор, но он нечаянно вошел не в тот магазин и увидел эти баночки. А увидев, уйти уже не смог и добрый час простоял, топчась, у витрины. Ему вдруг так захотелось съесть то, что внутри такой баночки, что слюна пошла ручьем и закружилась голова. Широкая продавщица в белом халате начала косо посматривать на него, и тогда он стал совать ей монеты, которые дала ему Масико на топор, совать по одной монетке, чтобы не переплатить. Он надеялся, что денег несколько останется и хватит, может быть, на топор без топорища, сам сделает его. Но хмурая продавщица все брала и брала. Вдруг она рассердилась и стала ругать его. Тогда До Хок-ро поспешно всыпал в ее розовую жадную ладонь все монеты и показал пальцем, что ему надо. Он надеялся, что она сама подсчитает и отдаст ему сдачу. Но продавщица бросила банку перед ним на прилавок и ругала его, вся красная, гневная. Старик поспешно отошел, не зная, за что так сердятся на него, и, проходя в дверь с пружиной, зацепился за порог, и дверь с размаху хватила его по ноге. Ему показалось, что это продавщица прыгнула через прилавок и вцепилась зубами в его пятку. Обойдя магазин, До Хок-ро пошел тесной улочкой между длинными деревянными бараками, на крылечках которых в эту жаркую пору никого не было. Тихо сохло на веревках белье. За углом барака старик увидел лишь сидящую девочку с круглыми коленками, игравшую с зеркалом и кошкой. Кошка отворачивала морду от зеркала, девочка вновь подставляла его, и кошка, удивленно прядая ушами, смотрела на свое отражение. Кошка оглянулась на До Хок-ро, испугалась и дернулась, пытаясь вырваться из рук девочки, но та крепко прижимала ее к груди и вновь подставляла зеркальце. Девочка даже не посмотрела на старика, когда он прошел мимо нее, направляясь к школе.

Войдя в пустынный двор школы, До Хок-ро присел на бетонную дорожку и стал вскрывать банку. Ножа у него не было, и он острым камнем ударил по крышке, затем еще раз, посильнее. От нетерпения старик стал бить камнем куда попало, пестрая бумажка порвалась и слетела с банки, блестящая жестянка покрылась глубокими вмятинами. Наконец банка лопнула по краю, по шву крышки, из нее брызнуло. Старик припал ртом к щели и чувствовал вкус — маслянистый, сладковатый, неиспытанный. Ему показалось, что необыкновенно вкусно. Высосав весь сок, До Хок-ро отбил крышку и увидел, что внутри банки лежит рыба ровными кусками. Он стал есть рыбу, но она ему не понравилась. Однако До Хок-ро съел ее всю, и ему захотелось вылизать остатки сока, но он побоялся, что порежет язык о жестянку. Тогда он поднял над собой помятую банку и стал ждать, пока сладкие капли не потекут к нему на язык. И тут в небе он увидел белый длинный дым. Скосив глаза, старик стал следить за тем, как дым растет, загибаясь плавной дугой, растет спереди, будто по волшебству. Но волшебства не было, это самолеты, знал старик. Они летели так медленно, что, если долго следить за ними, уставали глаза и клонило ко сну: так бывало всегда, когда ему случалось взглянуть на небо и понаблюдать полет железных

птиц. Слышал До Хок-ро, что они вовсе не машут крыльями и работают на бензине, как мотоциклы и грузовики.

Отбросив пустую банку, До Хок-ро поднялся, не глядя отряхнул штаны сзади и поплелся к магазину, где продавали топоры. А войдя в магазин, он встал у двери и осмотрелся. В большой комнате магазина было много вещей, почти все не нужные ему. В углу он увидел и топоры без топорищ — новые, черные, смазанные маслом, продетые на веревку, как рыбы на кукан. Но денег теперь не было, и До Хок-ро повернулся уходить. Суетная музыка звучала из блестящего ящика, над которым склонилась девчонка в синем халате, дрыгая в такт далеко вытянутой назад ногой. До Хок-ро вышел, проклиная и себя, и эту девчонку, у которой было столько топоров, но которая никогда, ни за что не отдаст ему один просто так, задаром.

Трое детей пробежали мимо До Хок-ро, держась за одну длинную бумажную ленту, и было уму непостижимо, куда бегут дети, зачем. Но и рад был старик тому, что они бегут, занятые своим, и не обращают внимания на него, не дразнятся и не кидают в спину камней. Вот идет он по улице между серыми, пыльными бараками, по пыльной, избитой улице, — идет без топора, без денег, идет медленно, и хочется ему остановиться и стоять на месте, потому что стыдно. Что скажет Масико? Что подумает больной человек? Тот, верно, улыбнется своим табачным, бескровным лицом, как всегда, и ничего не скажет, ляжет себе навзничь на теплый песок, подложив под затылок заломленные руки. А вот Масико может подумать, что старик потратился на вино, — и в этом вся беда. Как сказать, объяснить ей, что ему, старику, захотелось вдруг попробовать неизведанной пищи из красивой баночки?

Где твой старый топор, До Хок-ро? Нету его, зарыл в песок, и его теперь не найти (старик Ю подарил ему этот топор). А почему он зарыл его в песок? Из-за страха перед пришельцем. Выходит, что тот виноват во всем, а не До Хок-ро. И откуда только явился этот человек? Может быть, из моря, может, с неба. Может быть, с горы спустился. А кто его звал? Никто не звал, сам явился на Камарон.

Человек стоял на берегу, возле отмели, где громоздятся умершие катера и баржи. Он был высокий, стройный, простоволосый, босиком, штаны свои он закатал, из них торчали худые зеленые ноги в волосах. Он улыбался, держа в руках фуражку, набитую с верхом морскими ежами. Этих ежей человек стал разбивать камнем и высасывать из них съедобную желтую икру. Он сидел под ободранным бортом кунгаса и смотрел на До Хок-ро, собиравшего раковины.

То было за полдень, а к вечеру До Хок-ро увидел этого человека позади своего дома — он лежал на песке и корчился, как замерзающая собака. Старик ушел на сопку собирать траву копытник, а когда вернулся домой, увидел, что человек все еще лежит на песке. До Хок-ро съел свой холодный ужин и лег в темноте спать. Спал он на трех досках, перекинутых между большим пустым ящиком и каким-то громоздким мотором, брошенным в этом доме. Укрывался До Хок-ро ватным одеялом, которое дала ему Масико, так что старому телу его было тепло. А море шумно накручивало свои волны, земля тихо качалась, и До Хок-ро скоро забыл о потерянных деньгах.

Ночью ему приснилось, что незнакомый человек превратился в собаку, бегал вокруг дома, подвывая, а потом пытался раскопать землю под дверью, чтобы пролезть внутрь. До Хок-ро сердито закричал, тогда собака убежала. А утром, открыв дверь, у порога старик увидел лежащего человека. До Хок-ро закрыл дверь на замок, положил ключ в потайное место и ушел собирать водоросли. За ночь прошел шторм, на берег выкинуло много морской капусты — блестящие длинные ремни ее валялись на песке, сплетясь в клубок. До Хок-ро набрал охапку, какую мог унести, обвязал веревкой, взвалил на спину и вернулся домой. Он увидел, что дверь раскрыта и в доме хозяйничает Масико. Незнакомец лежал на постели старика, укрытый одеялом.

— Дядя Хок-ро, этот человек больной! — будто удивляясь, сказала Масико.

— Больной так больной, — проговорил До Хок-ро, свалив у порога свою ношу.

— Извините меня, — сказала Масико. — А вам я принесу другое одеяло.

— Сегодня много морской капусты, — будто не слыша Масико, проворчал старик. Он повернулся и с веревкой в руке зашагал прочь от дома — вновь за водорослями на берег.

А Масико нашла в развалинах поселка раму железной кровати с целой еще сеткой, принесла на себе в дом. Полы кто-то снял, остались одни полуистлевшие поперечные переводины, и, положив на две из них раму, Масико принялась устраивать ложе для старика. Она усердно поколотила палкой по железной сетке, сбивая комки глины, ржавчину, затем вновь сходила на развалины и приволокла по песку два соломенных мата, которыми когда-то укрывали соленую рыбу. Бросив маты на пружинную сетку, Масико поверх застлала кусок брезента, подогнула края. Постель она устроила подальше от двери, чтобы на старика не дуло. Занятая своей возней, тихо напевая, Масико не забывала взглянуть порой и на незнакомца, не очнулся ли? Но тот лежал тихо и дышал ровно, сомкнув свои выпуклые бледные веки. Масико решила никому пока не рассказывать о пришельце — на то у нее были свои соображения.

Вечером она опять пришла из города, принесла одеяло, жидкий рисовый отвар, вареную курицу и свечку. Незнакомец к этому времени очнулся и смотрел на нее, улыбаясь.

— Кушайте, — сказала Масико, ставя перед ним две чашки.

Но человек даже не взглянул на еду, он смотрел с улыбкой на Масико.

— Как тебя зовут? — тихо спросил он хриплым, но приятным голосом.

— Кушайте, кушайте, — отвернувшись в сторону, повторила Масико.

— Не могу. — Незнакомец улыбался бесконечной своей улыбкой.

— Я завтра врача позову, — сказала Масико.

— Не надо! Ради бога, не надо! — забеспокоился вдруг незнакомец, улыбка его стала испуганной.

— Почему не надо? Ты разве не больной? — спросила Масико.

— Не надо врачей. Никого не надо. Это была обычная простуда. Теперь прошло. Я тебя прошу, умоляю! Ты меня понимаешь?

— Конечно, понимаю! — обиделась Масико.

— Ну и хорошо. Не надо мне никого. Завтра я уже встану. — Он успокоился и снова спросил: — Все же как тебя зовут?

— Маша, — грубо ответила Масико, улыбаясь, и повернулась к До Хок-ро. Тот сидел на земле, прислонясь спиной к нерастопленной печке, над которой трещал и мигал желтый свечечный огонек. — Об этом человеке, дядюшка, никому не надо рассказывать, — сказала она старику.

До Хок-ро молчал, он думал: что же теперь будет?

— Эй! — крикнула весело Масико. — Кушайте! А то врача позову.

Этот изможденный русский человек был красив, а Масико не любила красивых мужчин. Был у нее один такой красавец — самый красивый парень в городе, был, да теперь нет его — осталась после него дочка. Теперь Масико нравились некрасивые мужчины — они-то всегда остаются верны своим женам, они не станут бегать за чужими юбками в первый же год после свадьбы. Некрасивый муж никогда не возомнит о себе черт-те что, ему не покажется, что всякая девчонка, мотающая подолом, делает это именно для него. И конечно, такой муж не попадет в тюрьму, ввязавшись в драку с поножовщиной из-за какой-то стервы, в то время как жена его лежит дома беременная и ее всю выворачивает от рвоты.

— Пусть он поживет здесь, пока не выздоровеет, — сказала Масико старику.

И она стала навещать их каждый день, приносила много еды. Больной человек почти ничего не ел, так что все оставалось старику. Через неделю До Хок-ро заметил, что потолстел, ремень на штанах пришлось застегивать на одну дырочку шире. А больной все валялся под одеялом и смотрел в потолок.

Но вот однажды До Хок-ро пришел с сопки, принес мешок травы, которую Масико называла «собачьи лапки», и увидел у двери свой топор — наточенный, со сверкающим лезвием. А человека нет дома. До Хок-ро задумался: для чего топор наточен? Видно, этот пришелец выздоровел. Никогда старик не встречал такого непонятного человека. Может быть, он слаб умом? За две недели он и слова не сказал, а все смотрел и улыбался. Сначала старик сердился. «Чего смотреть на меня, — думал До Хок-ро, — разве на мне картинки развешаны?» А потом эта улыбка стала пугать старика, пугать даже во сне. Когда вечером До Хок-ро укладывался на свою скрипучую кровать, над ним в темноте возникали бледное лицо и эта неподвижная улыбка. И если бы До Хок-ро подошел в темноте к человеку и зажег спичку, то увидел бы, наверное, те же глаза и ту же улыбку. А во сне старику представлялось какое-то болото, через которое надо идти, но идти он не решается: из черной трясины должен появиться длинный змей и нужно что есть силы поджимать пальцы на ногах, чтобы змей не заметил его. Этот змей почему-то и есть скорбная улыбка человека. А однажды ночью старик проснулся, будто толкнули его в грудь, и увидал: тот сидит рядом, возле его постели, и с улыбкой смотрит куда-то, а дверь раскрыта, и видно множество белых рассыпчатых звезд в проеме двери. До самого рассвета старик так и не заснул, следил, что будет делать этот странный человек. А тут, гляди-ка, топор наточил, словно бритву. Может быть, он узнал, что у До Хок-ро водятся деньги? Так нету теперь денег, украли. Только как ему сказать об этом и поверит ли?

До вечера старик ходил возле топора, косясь на его блестящее лезвие, и когда увидел, что человек идет домой, проворно спрятал топор в печку. А уже в глухое время ночи бессонному До Хок-ро пришло в голову, что незнакомец может пошарить рукою в печке и найти топор. Тогда старик пробрался к печке, достал топор, стараясь не звякнуть им о дверцу, и, прижимая холодное железо к груди, вышел из дома. Он отбежал подальше и закопал топор в песок. Только после этого захотелось ему спать.

А утром пришла Масико, и нужно было растапливать печку, чтобы ошпарить собранную траву в чугунке с кипятком. Тут и хватились топора. Весь песок вокруг дома перерыл До Хок-ро, а все без толку. Тогда Масико дала денег старику, чтобы шел в город и купил новый топор. Пришелец выполз из дома, уселся на завалинку и глядел на старика. Он все понимал, казалось, улыбался и ни о чем не спрашивал.

— Живой? — крикнула Масико человеку.

— Хорошая погода, Машенька, — ответил тот и вдруг раскинул руки и сладко зевнул.

— Иди спать! — крикнула Масико и рассмеялась.

А До Хок-ро поплелся в город, до которого шагать надо было едва ли не час вдоль моря, да еще километра на два в глубь острова тянулся город. Но старику хотелось, чтобы путь этот был вдвое длиннее, когда он без топора шел назад. До Хок-ро упорно смотрел на землю, под ноги, — может быть, валяется где ненужный топор? О, чего только не было на этой земле! Битое разное стекло, сверкавшее, как крошки солнца, рваная газетная бумага с крупными и мелкими буквами, клепка от бочки в засохшей глине и когтистая куриная нога, старые лужи с голубым небом и белыми облаками на дне, рваные ботинки, щепки, свиная щетина возле забора. И следы колес, которые куда-то укатили, и следы ног, которые куда-то прошли.

Возле базара До Хок-ро наткнулся головою на спящую лошадь — она стояла, наполовину просу-

нувшись в проход меж двумя заборами, загораживая собою тропинку, бегущую по краю улицы. Подняв с земли упавшую кепку, До Хок-ро в сердцах хватил кулаком по боку лошади и отшиб себе руку. Ленивое животное прошло вперед шага на три-четыре и снова задремало на месте, ослабив одну заднюю ногу. Старик потащился дальше, встряхивая ушибленной рукою.

— Э! Хок-ро! — услышал он вдруг свое имя.

Повернувшись на голос, старик увидел лесоруба Че-сана, молодого Че-сана, у которого полон рот был железных зубов. Тот сидел на корточках возле самой тропинки под своим забором и ничего не делал. И тут До Хок-ро вспомнил, что Че-сану вырезали его грыжу и он в это лето не ушел в лес. У него может оказаться лишний топор!

— Куда это, Хок-ро? — спросил Че-сан, глядя снизу вверх и жмурясь под солнцем.

— Че-сан, если у вас есть старый, ненужный топор... совсем поломанный... выручите, — попросил До Хок-ро, утирая рукавом пот с подбородка.

— Сейчас вынесу, — тотчас отозвался Че-сан, поднялся и направился к дому, в котором жил пока один, без жены.

До Хок-ро перегнулся через низенькую ограду: обильная зелень кустилась на грядках, стлалась резная листва огурца, и колючие огурчики высовывались из-под нее. Старик одобрительно вздохнул: умеет парень работать!

Среди лесорубов Че-сан оказался самым молодым, он еще кипел неуемной жадностью к жизни и постоянно был озабочен поисками жены. Но с женами ему не везло — много их перебывало у него, и все уходили вскоре после свадьбы. Че-сан разорился на свадьбах, шутили лесорубы, молод еще для мужских подвигов, надо вырезать сначала грыжу, советовали они. «Ну держись теперь, холостые бабы!» — орал толстяк Паге, когда Че-сан наконец пошел на операцию своей чудовищной грыжи...

Че-сан отдал старику хороший топор, крепко насаженный на длинную рукоять. Дерево топорища было до блеска выскоблено осколками стекла.

— Берите, Хок-ро, это лишний, — сказал Че-сан, протягивая через забор руку с топором, а другой рукою придерживая чуть побаливающее еще место.

— Че-сан... вы спасли, — поблагодарил До Хок-ро, улыбнувшись, со всех сторон осматривая добротный инструмент. — Теперь я пойду, пожалуй, Че-сан.

— Что так скоро, дядя Хок-ро? Или мадаму себе нашли? — рассмеялся Че-сан, показывая свои большие железные зубы.

— Масико ждет... Мы траву варим. А вам я помогу... Картошку окучивали?

— Э, тут одному будет нечего делать, — махнул рукою Че-сан и снова осторожно присел под забором. Че-сан скучал без работы.

А До Хок-ро пошел дальше, держа в правой руке топор, левую сунув за пояс штанов сзади. Боги все же любили и не забывали его. А если он и остался бобылем и никогда не имел ни своего дома, ни лишней еды, ни хорошей одежды, то ведь это не по злобе богов. Они ничего не могут поделать с тем, что написано о каждом в книге судеб. А в этой книге боги пишут, закрыв глаза, не ведая сами, что пишут. Рука сама пишет. И если обрушиваются на тебя все восемьсот несчастий, то это еще не значит, что ты перед небесными судьями последний человек. Удача может ожидать на каждом следующем шагу! Масико молода и потому считает себя несчастливой, а ведь еще не известно, что сказано дальше там, в книге.

В зеленой куще жизни

Вот собирают они на отмели улиток и раковины. В руке у каждого капроновая сеточка из кусков невода, на берегу стоит ведро, куда класть улов. До Хок-ро равнодушно мочит в воде свои штаны, а незнакомец закатал штанины на бледных ногах и ходит по морской воде, словно цапля. Сапоги старика и ботинки человека валяются на песке рядом. До Хок-ро вспотел, очень жарко, но он не снимает пиджак — не привык. Он только снял с головы кепку и выбросил ее на берег, чтобы не мешала, когда захочется плеснуть на потное лицо пригоршню воды. Человек этот ищет, глядя под ноги, поводя головою из стороны в сторону, и громко фыркает. Его далеко слышно, потому что на море тишина. Мелкие, слабенькие волны подкатывают к отмели и тут же теряют свою силу без шума и пены. А отмель гладкая, как зеркало без единой трещины, вода и до колена не доходит. Светлое дно — перед глазами, видно каждую подводную травинку, каждую живую тварь, ползущую куда-то или спокойно сидящую на месте. Рак-отшельник, похожий на паука, убегает в сторону, испуганно оглядываясь, таща на себе мертвую чужую скорлупу. Сытые белые пузыри лениво дышат в теплой воде, не имея ни глаз, ни рта, ни разумного соображения, — они живут всем круглым бледным телом и толстеют. Крупные розовые улитки выставляют из себя студенистое тело и втягивают обратно, но среди них много пустых — кто-то съедает их. В песке чернеют маленькие дырочки, будто кто прутом понаделал, — это норки, в которых прячутся двустворчатые раковины. Сунешь в такую дырочку палец — и вот он, острый край раковины, вытаскивай улов. Но много на дне и обманных дырочек, бог знает кто их пробуравил. Палец заболит, пока потычешь во все эти норки. Босые ноги чувствуют под травою колючки морских ежей, этих тварей столько, хоть лопатой загребай: сгрудились на дне целыми семьями, разнежились в тепле. Лето, лето, что скажешь! Всем хорошо. Маленькая камбаличка так похожа на обрывок серой тряпки. Глупая камбала, зачем мутишь песок, чего испугалась? Ползи себе спокойно по дну, глотай морских блох. До Хок-ро за тобой не погонится. Да и зачем ты ему нужна? Чуть побольше пуговицы и тонка, как бумага, на просвет увидишь все кишки. Та-

кую рыбешку в уху положишь — растает там бесследно вместе со всеми своими мягкими костями. Вон тот, что фурчит носом, тот погнался бы за тобой. Да еще заржал бы, как жеребец, — радуется, что выздоровел, что добрая Масико приносит для него еду. А сам уходить не хочет, лезет помогать старику, будто его просят. Чертова родня, да откуда только принесло его и что надо ему от бедной женщины? До Хок-ро поплескал воды на лицо, утерся рукавом и выпрямил спину. Он увидел незнакомца — тот шел, высоко вскинув над плечом руку, покачивая ею, а в другой неся набитую доверху сетку. Он шагал, осторожно ставя в воду худые ноги с большими ступнями, боясь острых камней и твердых ежовых игл. И вдруг в двух шагах от себя До Хок-ро заметил осьминога, вяло распластавшегося среди донной травы. О, это была богатая добыча! Масико продала его потом в городе за четыре рубля. А сколько было шуму, пока они выкидывали его палками на берег, — этот высоченный детина кричал и суетился, как мальчишка.

А вот сидят они в доме, дверь раскрыта, на улице уже который день льет. Когда-то давно покрытая толстым слоем вара, крыша не протекает, и это очень хорошо, потому что на полу, на газетах, по всей комнате лежит сохнущая трава. До Хок-ро и пришелец сидят на одной доске, перекинутой между двумя переводинами близ двери, сидят, не касаясь друг друга. А за порогом льет и льет, серый туман скрыл за собою сопки побережья и дальний конец моря скрыл. Слышен лишь один водяной шум — дождя и плещущих волн. Изредка прокричит мокрая ворона свое «ай-ой ай-о!» да проедет, натужно и тревожно завывая, машина по невидимой в тумане дороге. Этот пришлый человек сидит, бросив на колени руки, глядя на порог, и медленно качает головой. А мимо порога бежит и журчит вода, и песок шумит под дождем, и совсем не холодно, но пробирает дрожь. Печь затопить нельзя — нет тяги в сырую погоду. Масико, конечно, не придет в такой ливень.

Когда установилась непогодь, больной человек поскучнел, перестал улыбаться, целыми днями валялся на своей лежанке и не подходил к пище. Уронив длинную руку, перебирал ею песок, что сам же натаскал ведром и разбросал по всему дому. Порою, лежа на спине, глядя на потолок, он принимался разговаривать сам с собою, и тогда старику хотелось вон уйти из дома. До Хок-ро начинал усердно перетряхивать траву на газетных листах или сворачивать в мотки вянущую морскую капусту. И человек утихал, отворачивался лицом к стене. Тогда До Хок-ро снова усаживался на доску и смотрел, как льет дождь. Иногда незнакомец вставал и усаживался рядом, но сидеть долго не мог, — уставал, видимо.

Эти дни дождя, и молчания, и оголтелого вороньего крика перепутались в голове До Хок-ро, и он уже не помнил, сколько дней они ждали Масико — неделю, а может быть, всего три дня. Она появилась перед открытой дверью — в блестящем плаще, в резиновых сапогах, пряча голову под зонтом, — и весело спросила: «Дома хозяева?» Она передала в руки До Хок-ро сумку и стала стряхивать воду с зонта. Несколько серых капель попало на ее лицо, и старику, не знавшему от радости, куда положить тяжелую сумку, захотелось утереть лицо Масико какой-нибудь чисто выстиранной тряпкой. «О, сколько вы насобирали морской капусты!» — сказала она, с улыбкой оглядываясь и расстегивая потемневший, сырой плащ.

Дни ненастья кончались, и снова над морской пустыней синело чистое небо. По морю издалека к берегу неслись толпой волны, блестя на солнце. В такую погоду на горячий песок приходил весь город, и берег казался муравейником от праздных людей. Солнце было редкостью для этих мест, и люди торопливо брали его, бросая все свои дела. До Камарона они не доходили, им хватало пляжа напротив города. Лишь изредка на косу забредали какие-нибудь дружные парень да девушка, держась за руки. За мысом на дюнах стлался цепкий шиповник, он цвел в эти дни. Парень и девушка ломали для букета колючие ветки с цветами, а то просто ложились в песчаной выемке между дюнами. Проходя мимо дома, они поворачивали лица и с удивлением глядели на двух отшельников. А До Хок-ро и пришелец в эти дни крутились по Камарону с утра до ночи. Они рвали на сопке съедобные травы и мешками притаскивали домой, сами отваривали и сушили потом на солнце. В отлив они собирали на отмели раковины, успевая за день добыть ведра по три. Оба почернели от солнца, человек оброс колючей бородой, ходил по песку босиком и выглядел одичавшим бродягой. Масико смеялась, глядя на них. В ясные эти дни остров напротив берега не показывался, будто совсем растворился в плотной высокой синеве неба. Над волнами стали во множестве летать бабочки. Глупая нерпа высовывала усатую голову из воды совсем близко от берега. Мальчишки-рыболовы дали пришлому человеку крючки и леску, и тот скоро научился орудовать закидушкой. Рыбы он налавливал много — хватало и на уху, и на сушку. Пришлось сколотить шесты с перекладиной, чтобы подвешивать распластанную камбалу. Как-то раз пришла по берегу Масико, в синем купальнике, в черных очках, с высоко уложенными волосами. Она шутя толкнула в грудь человека, и тот упал, притворяясь бессильным. Мужчины угостили Масико свежей ухой, прямо с костра. От Масико пахло вином, она пришла на море с подругами-портнихами из бригады, заведующая отпустила их с работы. Масико поела, посмеялась и ушла потом обратно по берегу, глядя в море. Ее загорелые круглые плечи, руки и ноги блестели под солнцем. Синий костюм долго был заметен издали, потом исчез среди других ярких пятен. До Хок-ро собрался сходить к водопаду — набрать свежей воды в большую бутылку. А сосед его разделся, зашагал было к морю и вдруг зашатался. Он попятился, надламываясь в поясе и в коленях, крутнулся на одной пятке и упал лицом в песок. До Хок-ро отложил на землю бутылку, подошел к нему и перевернул его на

спину. Из носа человека текла кровь, смешиваясь с песком на лице. До Хок-ро стоял над ним на коленях, вертя по сторонам помятой темной головой, не зная, что ему делать. От страха он сразу вспотел, — то было в первый раз, потом старик привык и уже так не пугался, когда с больным случался припадок.

До Хок-ро и Масико сидели возле дома и выбирали мясо из проваренной улитки. Масико ловко цопала вилкой, вытаскивала тело улитки из розовой завитушки, отделяя мясо от кишок, и бросала в кастрюлю. То же делал и До Хок-ро, но только улитку он клал на камень и раскалывал скорлупу обушком топора. Кипел шторм на море, от него свежо тянуло, солнце быстро бежало между розовыми облаками. Ветер сносил вбок от головы Масико распущенные волосы и подолгу держал их так. Масико была довольна. За мясо ракушек и съедобную траву она выручала в городе неплохие деньги. Масико работала и пела. «В зеленой куще жизни мы играющие дети, — говорилось в песне. — Что прекрасна, не гордись ты — жизнь все равно, как поезд, промчится. Поезд мчится, поезд мчится, дым летит, земля летит. Ни-на-ана-на! Жить вместе — значит делить одну судьбу», — пела Масико. И вдруг рядом страшно загрохотало. Дом стало трясти, с завалинки упала миска с солью. До Хок-ро испуганно отложил топор в сторону, а Масико вскочила и подбежала к двери дома. Оттуда шел голубоватый бензинный дым, выскочил улыбающийся незнакомец, протирая замасленные руки песком.

— Что это? — крикнула Масико.

— Лампочки приноси, Машенька! — прокричал тот. — Будет у нас свое электричество! Мотор починил!

— Ты что, с ума сошел? — Масико сердито оттолкнула улыбающегося человека, который потянулся обнять ее. — Сейчас же потуши мотор! Дом поломаешь! — И она стала подталкивать его к двери. Тот покорно согнулся и вошел в дом, мотор перестал грохотать.

— И вправду, он дурной, — обратилась Масико к До Хок-ро.

Тут старик вспомнил, что незнакомец давно уже собирал на подоконнике какие-то небольшие железки, принося их со свалки. А сегодня вышел на проезжую дорогу, остановил мотоцикл и после принес большую консервную банку с бензином.

— Если он останется здесь, Масико... Если бы он ушел... — заговорил старик. — Я просто не знаю... что за человек.

И когда незнакомец, согнувшись под притолокой, вынырнул из дымной полутьмы дверного проема, Масико встала перед ним:

— Эй, скажи честно! Документы есть? Паспорт у тебя есть?

— Нету, Машенька, — бодро ответил тот.

— А где они? — приступала Масико.

— Нету! Ну зачем, зачем тебе мои бумажки?

— Покажи, — не отставала Масико. — Ты что, из тюрьмы вышел?

— Гляди, соль просыпали. Ох, Машенька, быть ссоре! — шутливо засокрушался человек, усаживаясь на завалинку и закидывая ногу на ногу.

— У меня муж в тюрьме. Я жалею таких. Говори правду, не бойся, — сказала Масико, опускаясь рядом с ним.

— А что говорить? — лукаво скосил он глаза на нее. — Правд много на свете.

— Говори, где документы?

— Не знаю. А они мне ни к чему, Машенька, — беспечно отвечал человек. — Мне теперь ни-че-го не нужно. Мне нужно только это, — и он обвел рукою Камарон, море, сопки. — Я болен, я человек с чужой кровью, Машенька.

— Врешь! — рассмеялась Масико. — Кровь у тебя своя, как у всех, сама видела.

— Когда-то я жил здесь. Давно, много лет назад. У меня отец был военным, здесь служил. Может, мы с тобой встречались раньше, Машенька? Ты здесь давно живешь?

— Я здесь родилась и все время живу, — ответила Масико. — Никуда не уезжала. Только в Южно-Сахалинске несколько раз была.

— А я уехал в семнадцать лет, сразу же после школы. С тех пор ни разу не был здесь... Учился потом во Владивостоке, работал в Южном... Вроде бы недалеко отсюда, а не нашел времени приехать. Мне, Машенька, все хотелось, куда-нибудь подальше-подальше. В Москву, например, или в Одессу. После школы я и хотел в Москву, но там как раз был кинофестиваль, артистов понаехало, и я побоялся, что прогуляю и не поступлю в институт, остановился во Владивостоке, не поехал дальше. И вот лет шестнадцать прошло. Половина жизни. Как быстро! Вот никогда не думал, что еще раз сюда попаду.

— Зачем же ты приехал?

— Помирать, Машенька, — весело отвечал человек. — Вот вспомнил, как перед отъездом пошел я прогуляться вон на ту сопку. — Он показал на большую крутобокую сопку, вздымавшуюся с правого крыла залива, за устьем реки. — Забрался я наверх, потом дальше пошел. Оказался за бамбуками, на какой-то полянке. Там стожок сена стоял. Прилег я возле стожка и вроде бы вздремнул. Вдруг очнулся я, Машенька, и вижу — змея ползет возле самой моей головы! Вскочил я, схватил какую-то палку, замахнулся на нее и смотрю... А она замерла, головку подняла и тоже смотрит на меня.

— Испугался?

— Очень. Посмотрела на меня спокойно и дальше уползла. Тогда только я опомнился, дух перевел... Что было бы, Машенька, если она тогда ужалила бы меня в голову? Наверное, конец. Шестнадцать лет назад бы уснул. Молодым, здоровым, чистым. Может быть, так было бы лучше, а?.. Вот послушай, ты знаешь, где Африка? — вдруг спросил он.

— Что это? Зачем? — удивилась Масико, знавшая, где Африка.

— Летела птица в Африку. — Человек замахал руками, как крыльями. — В Африке хорошо, знала птица, там никогда не бывает зимы. Видит — крыша, дай, думает, сяду и отдохну. Села птица.

Тут человек отделил ногтем кусочек черного вара от завалинки и показал Масико. Вар капал в жаркую погоду с кровли.

— А на крыше была вот такая смола. Прилип у птицы хвост к ней. Дернула птица хвостом — хвост отлепила, зато нос увяз в смоле. Дернула клювом — клюв отлепила, а хвост снова прилип. Вот и сидела она на крыше и качалась, пока не пришла пора умирать. И тогда решила она: «Раз я все равно умру...»

— Эй, чего ты болтаешь, как пьяный? — перебила его Масико, рассердившись. — Молчи, если говорить нечего. Ты разве мужчина? Ты баба. Все время: «Умру, умру». Ну и что? Умирай. Каждый человек умирает, не забывай об этом. — Она встала с завалинки и стала быстро ходить взад-вперед, скрестив на груди руки. Резко нагнулась, подняла упавшую, перевернутую миску из-под соли.

— Вот и поссорились, что я говорил, — грустно сказал человек, опустив голову и улыбаясь.

Масико собралась и ушла. А человек никуда не ушел. В эту же ночь начался дождь и продолжался беспросветно две недели. С человеком случались еще припадки. Масико, приходя, насильно кормила его, потому что сам он ничего не хотел есть. Он все просил, чтобы она никому не говорила о нем, врачей не звала. Он говорил, что даже самый лучший в мире профессор не сможет помочь ему. Масико удивляло его нежелание видеть врачей. Но она вскоре сказала себе, что это не ее дело — каждый имеет право на свои тайны. А До Хок-ро больше ничего не говорил и ни о чем не расспрашивал. Он терпел.

Вечные хранилища человеческих тайн

Однажды До Хок-ро сидел на дюне и выцарапывал из пятки колючку. Море было синее, совершенно гладкое, небольшие волны месили песок и разный плавучий хлам у берега. Небо без облаков вставало голубой стеной, но дул острый холодный ветер. До самого города берег лежал безлюдный, купался только один какой-то одержимый да торчала на воде голова любопытствующей нерпы. Вдруг за нерпой стало всплывать что-то огромное и черное, вода раздалась, и длинный подводный корабль, с которого сбегали белые струйки, тихо закачался, а потом замер совсем недалеко от берега. Нерпа исчезла. К удивленному До Хок-ро подошел и сел рядом пришелец. Обутый в ботинки, он залезал в самую гущину колючих кустов шиповника и набирал в ведро лучшие ягоды, а До Хок-ро, босой, шел по краю дюны и собирал в капроновую сеточку что попадется.

Пришелец и старик долго смотрели молча. На подводной лодке появился человек. Он медленно прошел до самого конца лодки — будто шел по длинному бревну, — а затем вернулся назад к рубке. Тут он остановился и закурил, и видно было, как возле его головы появляется и тает табачный дым. Затем человек бросил окурок в воду и скрылся внутрь, и уже больше никто не показывался из лодки.

До Хок-ро задумался о таинственных делах, совершающихся в мире, но тут его мысли перебил пришелец. Он что-то быстро и много говорил, показывая пальцем на подводный корабль, глаза его и рот сердито округлились. Голос человека исторгал какое-то непростое и тесное для сердца волнение, которое не мог постигнуть До Хок-ро. Человек размахивал руками, прижимал их к груди, задыхался. И старику ничего не было понятно, кроме одного: человек за что-то зол на подводку или на человека, который выходил из нее покурить. И тайна окружающей жизни казалась еще непроницаемей, и у До Хок-ро защемило в сердце. Все знали что-то и жили, разбираясь во всем, и только он, До Хок-ро, дожил до седин, мало что понимая вокруг себя, ото всего отмахиваясь. Вот летают возле самого неба самолеты — что за полубоги осмеливаются подниматься на них? Зачем они пускают дым через все небо — для забавы или для нужной работы? Или этот человек — какое отношение имеет он к подводному кораблю?

А человек все говорил и говорил, и задумавшийся До Хок-ро не понимал его. Пришелец сбежал с дюны к морю, к сырому песку, покопался в нем, прибежал назад и показал старику пойманную морскую блоху. Блоха шевелила прозрачными лапками, человек положил ее на ладонь и гулко хлопнул по ней вогнутой ладонью другой руки. Оглушенное насекомое замерло, тогда пришелец показал пальцем на нее, а затем на свою грудь — и закрыл глаза. И До Хок-ро понял: речь и жесты человека означали: *когда я умру*... Незнакомец взрыл в песке яму, положил туда блоху, и засыпал, и уперся пальцем в плечо До Хок-ро, а затем снова указал на себя — и это означало: ты похоронишь меня.

До Хок-ро молчал, он думал, что этого не сделает, если больной человек и на самом деле умрет. «Где взять гроб, и телегу, и лошадь, чтобы отвезти на кладбище тебя?» — думал старик, глядя в распах рубахи, под которой дышала бледная, с выпирающими костями грудь человека. И тот, поняв, видимо, о чем думает старик, поднялся на ноги и отошел шагов на тридцать в сторону. Он стоял возле дюны на ровном неширoком месте, сплошь заросшем мелкой, незапыленной, мягкой травою. И, глядя издали на До Хок-ро, указывая пальцем под ноги, пожелал: вот тут меня и похоронишь. Что ж, одобрил До Хок-ро, место ты выбрал неплохое себе. Здесь песок, всегда сухо, и кости будут дышать, они не почернеют, как в сырой плотной глине, а останутся вечно лежать розовые, чистые, нетленные. Что ж, в таком месте всякий не прочь полежать, когда умрет. Только кого попросит он, До Хок-ро?

Синее и холодное, море далеко — до самого четкого края — расстилало перед берегом свою необъ-

ятную тишину. Поперек моря чернела длинная подводная лодка, хранительница тайны незнакомого человека и сама — тайна. Обычно за целый день старик лишь несколько раз мельком оглядывался на пришельца, когда они вместе ходили по берегу моря или по сопке, а сейчас он долго, с робким любопытством смотрел на него. Даже нерпа, черневшая совсем близко от подводной лодки, казалась для До Хок-ро частицей той значительной тайны, которою была окутана судьба пришельца. Нерпа ныряла и всплывала в море, как те вопросы, что возникали и безответно исчезали в голове старика.

Кто он, этот человек? Откуда? Почему соглашается жить в пустом доме, и спать на твердых досках, и есть чужую пищу? Что за нечистая сила гложет его, что за болезнь? Почему не хочет врачей, коли болен? И в чем он провинился перед небом?

Черный длинный корабль лежал на спокойной воде тайной всех тайн. Человек уже царапался одеждой в кустах шиповника и позвякивал ведром, собирая начавшие краснеть чистые, блестящие ягоды.

До самого вечера простояла в море подводная лодка. Вернувшись домой, старик заходил внутрь и по каким-то делам выходил на улицу и все время видел ее низкое на воде тело с единственным выступом поближе к одному краю. Человек больше не появлялся из корабля, а незнакомец лежал на своем месте, закинув руки за голову, и не выходил посмотреть на подводную лодку. До Хок-ро пошел вокруг дома, выискивая на земле какую-нибудь веревку, чтобы подвязать отвалившийся низ сапога, и когда, обогнув угол, посмотрел в море, лодки уже не было. И тут До Хок-ро подумал, что корабль приходил, наверное, забрать его соседа... Когда-то давно он и тот человек из корабля поссорились, видимо, а может быть, даже и подрались. И этот ушел тогда, обидевшись, и стал жить, прячась от людей, а потом опасно заболел. А тот узнал об этом и решил помириться. Но гордость не позволила ему решиться на первое слово примирения, и он только прошелся по кораблю, только показался: вот, мол, я, приехал, как видишь. А этот не захотел мириться — обида, видать, была велика. Что ж, До Хок-ро может понять такое: иная обида и на самом деле пострашнее смерти.

А в другой раз в душную пору пополудни До Хок-ро и незнакомец шли по сопке с мешками набранной травы за плечами. Солнце палило, трава резко пахла зеленью. До Хок-ро шел впереди, ему было жарко, он спешил, как только мог. Спуститься по крутому склону сопки не решилась бы и коза, и оба тащились кружной дорогой, через кладбище, хотя Камарон был рядом, прямо под ногами. На берегу там и сям метались костры, пахло дымом, поднимавшимся до вершины сопки и выше ее, но идти до этих костров надо было еще долго. Хорошо, что внизу, у города, где сопка кончается плавным спуском, ждет их свежая, холодная вода в колодце. У старика на спине, под мешком, пропотел насквозь пиджак, кепка его тоже взмокла с того края, где лоб. Глядя с высоты на море, глядя на белую извилистую кромку прибоя, старик представлял жгучую соль, которою была насыщена вся эта необъятная громада воды, и от этого пить хотелось еще сильнее. И он, когда заметил сидящих среди могил лесорубов, игравших в карты, не захотел даже подойти к ним.

Но лесорубы его окликнули.

— Хок-ро! Сюда! Посидим вместе! — сипло проревел толстяк Паге, крутя над головой ладонью.

Пришлось До Хок-ро свернуть с пути. Может быть, найдется у них вода? Оказалось, что умер старик Ю, умер-таки от своего кашля, и лесорубы покинули свою работу и все приехали в город, чтобы похоронить его. До Хок-ро, как узнал об этом, повалился возле свежей могилы, стал ударять по земле кулаком и причитать. Он стольким был обязан старику Ю! Затем До Хок-ро попросил напиться. Паге налил ему водки в стакан, ничего другого из питья у лесорубов не оказалось, и старик выпил водки. Через минуту он уже опьянел.

А лесорубы продолжали играть в карты. Толстяк Паге мошенничал, и бригадир Хе лупил его своей огромной ладонью по загривку, пытался влепить по лысине. Паге прикрыл голову картами, живот его под синей майкой подскакивал от смеха. В стороне на кладбищенской мягкой траве лежал Че-сан, раскинув ноги в новых ботинках, положив одну руку на живот. Он спал — нос блестит, как стручок красного перца, рот открыт, изо рта хриплая музыка, будто там варится суп. Пил молодой Че-сан как ребенок, дырявый наперсток его мера, шутили лесорубы. В тени чьей-то большой могилы, прислонясь спиною к ограде, сидел Ивомото в новом темно-синем костюме, сшитом четыре года назад. Он был чисто выбрит, кепка с пуговкой на макушке ровно сидела на его худой маленькой голове.

— Хок-ро, — сказал Паге, плутуя в карты, — где такого друга отыскали? — Паге имел в виду незнакомца, который уселся недалеко от Ивомото.

— Это не простой человек, — важно сказал До Хокро, кивая самому себе. — Он болен, у него отпуск. Приехал дышать морским воздухом... лечиться.

— Налейте ему водки, Хок-ро, — сказал Паге. — Сразу видно, что большой начальник. — И он снова затряс своим изрядным животом, раскрыв широкий, веселый рот.

— Я налью... если уважаемая компания... — начал было До Хок-ро.

— Наливайте, наливайте! — сказал бригадир Хе. — Сегодня угощает покойник, а он богатый человек. Теперь мы все его наследники.

— Что-то мне не везет, — сказал Паге. — Попрошу-ка у дедушки.

Паге пополз на четвереньках к небольшому темному холмику могилы и стал тыкаться в него лбом — класть поклоны.

— Дедушка Ю, ради бога, помогите мне обыграть этих почтенных жуликов, — дурашливо помолился он и вернулся ползком на свое место.

До Хок-ро плеснул водки в стакан и подозвал своего спутника, кивая головой и подмигивая одним глазом. Тот подумал, потом встал и подошел. Пил он как вполне приличный человек — присев на землю и скромно отвернувшись в сторону от старших.

— Молодец парень, — похвалил его бригадир Хе, следивший за незнакомцем краем глаза. — Куши-куши! — прогудел он ласково своим богатырским голосом, кивая на закуску, разложенную по чашкам прямо на траве. В чашках лежали мясо и рыба.

Захмелевшему До Хок-ро захотелось вдруг петь. И, как будто угадав его желание, кто-то из лесорубов затянул песню. «Белая куртка, белые штаны, — я поющий добрый крестьянин», — пел лесоруб. «Желтая юбка, алая кофта, — я поющая добрая крестьянка», — подхватил До Хок-ро, мотая головой в лад пению.

— Ну-ка, потише! Эй, Хок-ро! Поминайте человека пристойно. А шуметь нечего, не дети!

Все на минуту примолкли. Над людьми странно — в два прыжка — бесшумно пронеслась рябенькая птица. Че-сан хрипел и булькал во сне. До Хок-ро сидел на чьей-то заброшенной могиле с упавшим на нее крестом; даже пьяный, он не переставал побаиваться сурового великана Хе. Незнакомец с улыбкой смотрел на всех.

— Человек помирай, его хорони, — стал объяснять ему бригадир, указывая на свежую могилу.

— А почему веселье? Почему карты? — спросил незнакомец.

— Эй, люди! — закричал вдруг До Хок-ро. — Я его давно знаю! Это не простой человек, поверьте!

— Разбудите Че-сана, пусть поговорит с человеком, — попросил бригадир Хе. Молодой Че-сан лучше остальных лесорубов говорил по-русски, недаром он не раз был женат на пожилых русских вдовах.

Кто-то потянулся и дернул спящего парня за ногу — нога протащилась по земле, как жердь, в руке лесоруба остался новый полуботинок Че-сана, и тут все увидели его пропревшие носки с двумя дырочками на подошве.

— Хо! Че-сану сейчас и мадам не нужна, — рассмеялся Паге.

— Старый человек помирай — хорошо. Очень старый человек помирай — очень хорошо, — пустился сам в объяснения бригадир.

— Понимаю, — сказал незнакомец. — А молодой?

— Молодой помирай — очень плохо, — ответил Хе, всегда спокойный и добрый от могучей своей силы, которая таилась в его прямом, невероятно большом теле, никем не измеренная.

До Хок-ро, задремавший было, почувствовал вдруг, что падает. Он и упал почти, только упрямо еще держал голову над землей и глядел на море, силясь там что-то понять. А понять было мудрено: из синего моря на синее небо заползал, словно муха, черный пароходик. До Хок-ро протянул вперед руку — хотел сбить пальцем пароходик назад в море, — да не удержался и опрокинулся навзничь в сон...

Очнувшись с мучительной жаждой, открыв глаза, он увидел неисчислимые скопища и скопища горящих и мигающих огней. Ах, это звезды, догадался старик, но почему он видит столько звезд? Никогда он не замечал раньше, что в мире столько звезд. Ах, он лежит, оказывается, на спине, и лицо его запрокинулось к ночному небу. Но почему он лежит лицом к небу? До Хок-ро приподнялся, огляделся — ох, кажется, он на кладбище. Сзади него светила круглая тяжелая луна.

Вдруг перед собою До Хок-ро заметил демона. Тот шевелился возле ограды могилы, знакомо хлюпал носом и, кажется, плакал. О, старик подозревал и раньше, что тот был демон-оборотень, подосланный к нему, — и он перенес его на кладбище. Страшная тайна крылась в этом посланнике, и теперь наконец она раскроется, эта тайна, — здесь, ночью, среди могил. Демон встал и пошел к нему, сверкая розовым огнем глаз, и До Хок-ро не стал даже прикрываться руками, чтобы зря не мучиться, — пускай делает поскорее, что задумал. Но тень незнакомца прошелестела мимо, она несла мешок за спиной и этим мешком задела его по лицу. Тогда До Хок-ро подхватил свой мешок с травой, оказавшийся у ног, и поспешил за незнакомцем — одному оставаться на кладбище было еще страшнее.

Но вскоре старик заметил, что тот ведет его не в ту сторону — в глубь сопки, откуда нет никакого выхода. Значит, все-таки демон. Что ж, пускай, решил До Хок-ро, покорно шагая за тенью, будь что будет, все равно не убежать от него, догонит, если захочет. Он долго шел за незнакомцем, как вдруг тот остановился и выругался в темноте. Он повернул назад и прошел мимо До Хок-ро. У старика отлегло от сердца — теперь они шли правильно, к спуску сопки, там был колодец, была вода.

И тут До Хок-ро совсем пришел в себя, отошел от сна и похмелья и вспомнил, что умер старик Ю, что его похоронили, а он, До Хок-ро, напился вина и уснул на кладбище. Девять человек было в бригаде лесорубов, а теперь, значит, осталось их восемь. Умер старый Ю, в комнату его поселят кого-нибудь другого, куда же теперь зимою деваться ему, До Хок-ро? Может быть, лесорубы согласятся принять его в бригаду? Тогда начальство выделит и ему комнату. Только возьмут ли лесорубы? Ведь от До Хок-ро будет мало толку, силы уже не те. Если и держали они в бригаде старого, больного Ю, то только потому, что тот был когда-то у них бригадиром, лет десять назад.

До Хок-ро посмотрел на того, кто шел впереди, шурша ногами по дороге. «Что теперь будет, — тревожился старик, — что будет со мною, когда настанет зима?» Да что зима — неизвестно было, что будет даже этой ночью, застывшей над морем и землею под желтыми искрами звезд.

Сон юности в июльский звездопад

Эти глубокие, бездонные ночи! Ночь пытается внушить свою правду, сердце человека ее не приемлет. Отвращаясь от тьмы, он следит за огненной неспешной каруселью звезд и планет. А потом он уснет, закрыв усталые глаза, и тогда за сомкнутые веки его просочится ночь, пошлет в горячую пустыню безвольного мозга служку, летучего отрока, имя которому Сон. Махнет лучом фонарика Сон — и представится скорченному на постели старцу, что он мощный воин, только что победивший дикого льва, и улыбнется во сне старик, и удовлетворенно подумает: «Нет, меня нельзя одолеть, все же я непобедим». А в следующее мгновенье старик увидит что он слабый старик, но вполне счастлив, потому что лежит на чистой циновке, заботливо укрытый одеялом, и рядом стоит медная плевательница, куда можно плевать, не двигаясь с места.

Молодой женщине снится страсть, струйка горячей влаги скользнула из ее пухлого рта и достигла подушки, попранной ее красивой головою. Во сне женщина не помнит, как ее зовут, но помнит, что она теперь золотистая раковина на дне моря, ласкаемая дождем льющегося сверху солнца; и она дрогнула створками, как бабочка крыльями, и раскрылась навстречу свету — во имя радостного постижения всей глубины силы бытия.

А на берегу моря волны гудят во тьме, видно призрачно взлетающую пену, и кажется, что из моря вдруг вынырнут сейчас черные великаны, покажутся по плечи и тряхнут косматыми головами, отчего разлетятся крупные брызги по всему берегу и падут с мягким и частым стуком на сонные кровли прибрежных домиков. До Хок-ро видит во сне, как двое рабочих в спецовках вытаскивают клещами ржавые гвозди из брюха начальника Шина. Начальник лежит, словно пьяный или в обмороке, а рабочие орудуют над ним, непочтительно уместив его меж своих расставленных ног. До Хок-ро слышит ужасный скрежет, когда лезет гвоздь из брюха, и только теперь старик догадывается, что круглое брюхо начальника было выточено из куска дерева, обтянутого сверху для обмана живой белой кожей.

Женщине снится любовь, старику — всякая ерунда, а человек, сидящий в одиночестве у ночного моря, не спит, но все равно он словно во сне, он тихо радуется сам с собою, и внутри у него звенит и дрожит от этой радости. Он взял радость у этой ночи лишь силой теплого своего сердца, потому что ночь молчит, богов нет — и разум пустеет, когда вплотную приблизится к человеку его предел. И все люди отходят куда-то недостижимо далеко. «О, рука моя кажется черной...» Рука его, лежащая на песке, кажется черной, будто в мазуте. Великаны ухают и влажно шлепают в темноте, белые кудри их взметываются над морем.

Масико вздрагивает на своей постели, она вдруг чувствует неясную, полусонную тревогу, подымает голову с подушки. С головы ее струятся черные волосы. Масико придерживает их, затем прикрывает рукою грудь.

— Кто здесь? — громко, хриплым голосом произносит она.

— Это я. Тише! — отвечает темнота.

— Чего тебе, Эйти? — сердито спрашивает Масико.

И вдруг что-то жесткое, большое, остро пахнущее мужским по́том наваливается на нее, она борется и с отвращением отталкивает это лезущее к ней бесконечно чуждое тело. Гневно вскрикнув, она бьет ногою, и тело, охнув, сжимается и сваливается с нее, женщина еще бьет ногою, яростно оскалившись.

Эйти, сброшенный с кровати на пол, видит метнувшуюся у белой стены тонкую фигуру, затем, ослепленный вспыхнувшим светом и собственным стыдом, корчится на полу. Эйти видит, как стоит у стены, все еще держа палец на черной чашечке выключателя, вожделенная женщина с полуголой грудью и открытыми нежными, стройными ногами. И он подползает к ней на коленях, со стоном обнимает ноги.

— Масико, о Масико... Я хочу, — шепчет он. — Не кричи так.

— Уходи, а то сильнее закричу, опозорю тебя перед твоей женой, — говорит Масико, усмехаясь и раздувая ноздри, и она за волосы отводит от себя устремленную к ней голову мужчины.

— Масико, погоди... Вот ты даешь, — шепчет Эйти, он вырывается, сильно тряхнув головою, и вновь приникает лицом, целует горячую ногу и чувствует, как напрягается она под его губами.

Масико бьет его по лицу, бьет в кровь и придушенно кричит, с ненавистью глядя на него:

— Ты хочешь, скотина?! А я хочу? Я хочу? Ты спросил у меня? Прочь отсюда и больше не приходи, не дам тебе играть на аккордеоне. Иди в клуб, запишись, там учись играть. Уходи, Эйти, а то сейчас в стенку к соседям стукну.

И Эйти уходит, зажимая ладонью разбитый нос, и алая хмельная кровь течет по его руке. Он перешагивает через низкий подоконник раскрытого окна и исчезает в черной ночи, откуда пришел. Масико гасит свет и бессильно опускается на пол у стены, щекою приникает к гладкой крашеной доске и шепчет:

— Ну и пес! Зачем он пришел? Как вор, через окно. Я ему дам теперь аккордеон... — И она плачет, долго, горестно плачет, лежа на прохладном полу.

Затем встает, накидывает легкий халатец и идет в другую комнату, где в хорошенькой пижамке, разметавшись, спит на кроватке маленькая дочь. Масико долго стоит, склонившись к дочери, словно молясь на нее и прося защиты.

Но какую защиту может дать беспомощное дитя? Вчера дочь заболела, отравилась чем-то, ее рвало и ломало судорогами, нежное тельце было горячим, как утюг. Ее хотели из детского сада отправить сразу в больницу, но Масико не дала, потому что дочь с такой болезнью могли продержать там очень долго, тогда с кем же останется Масико? О, эти долгие,

долгие вечера и одинокие ночи... А дочку прижмешь к себе и успокоишься. Теперь девочка спит, головка у нее еще горячая, сухая, но спит крепко, не проснулась даже на шум...

Лоно темного поля всего лишь глина да песок, но чудо возникает там, если падут в него зерна, — и тревожная сырая земля жаждет этого чуда. А глаза женщины яростно плачут, потому что поле ее жизни помнит чистое тепло солнца и тень хозяина на себе. Масико кусает острыми зубами мягкие губы, она берет кофту и тоже перешагивает через подоконник. Тут ее маленький огород — лук да редиска. Масико притворяет окно и крадучись выбирается за ограду.

Там прохладная трава касается ног Масико. В траве, словно огни звездного неба, светятся зеленые фонарики светляков. Масико видит только это падшее вниз небо, по которому можно ступать ногою, и не в силах она поднять голову к сверкающему, настоящему небу. Выйдя на железную дорогу, Масико глубоко вздрагивает и надевает кофту. Рядом с дорогой, чуть освещенные далеким фонарем, громоздятся высокой стеною бревна, Масико идет вдоль них направо. Идти в домашней обуви по щебню и шпалам неловко, Масико теряет с ноги тапочку, долго ищет ее, нагнувшись в темноту, ухватывая рукою какие-то длинные холодные камни. Она не знает сама, куда идет, но ей кажется, что это не шпалы железной дороги под ногами, а перекладины лестницы, ведущей к блистающему вышнему небу. И, взобравшись до верха лестницы, думает Масико, она прыгнет оттуда в море.

Масико идет к морю, на дне которого она будет лежать, как на дне глубокого колодца. Свет верхней жизни будет далеко, но подойдут дочка или старик До Хок-ро, кому она нужна еще, заглянут через край морской испуганными глазами. «И я протяну из тьмы длинную руку и подам им счастье. Дочке все, чего ей захочется, а старику много денег, он любит деньги. Все спят, а я не сплю». Волны гудят — о, страшные волны! Видно белую пену.

Три искры, вылетев из одной точки неба, разошлись по трем огненным дорожкам и канули в море. И вздрогнула Масико: три человеческие души сгорели, ударившись об одно место, как сталь о камень. Что случилось? Может, авария на шахте или машина разбилась на дороге, а в машине находилось трое?

И тут увидела Масико черную и тонкую тень человека, который стоял на берегу и простирал к морю руку, как недавно сама горевавшая Масико.

— Эй! — крикнула она, ибо узнала эту тень: как могла она забыть, что на свете мается и этот несчастный, странный человек! Три упавшие звезды — это она, Масико, старик До Хок-ро, который скоро умрет, и этот больной человек. Как она не догадалась сразу! Три судьбы обломились и пали на пустынный Камарон, песчаную длинную косу.

— Кто здесь? Ты, Машенька? — удивленно произнес человек радостным голосом и подошел к ней.

Ударила волна о берег, и покатый берег дрогнул, длинно зашипел.

— Ты почему ходишь? — спросила Масико; она бросила тапочки на землю, ощупью, по одной вдела в них ноги, отвела назад упавшие на плечи волосы, и отвороты халата распахнулись, выпустив на волю дрогнувшую круглую грудь.

— Тебя жду, Машенька, — сверкнув во тьме зубами, улыбнулся человек.

— Не обманывай! Ты не знал, что я приду, — строго возразила Масико; дрожь коснулась ее плеч, холодной струйкой соскользнув по ложбинке спины.

— Не знал, и все же ты пришла, — радостно произнес человек и, подняв лицо, уставился в небо.

«Да, пришла, думала Масико, чтобы утопиться».

Поцелуй Эйти горел, словно постыдная язва, на ее теле. Если женщина одна, думала Масико, то каждый мужчина, пахнущий зверем, смотрит на нее тайным безжалостным взглядом. И так будет теперь всегда: мужа посадили в тюрьму на восемь лет, и он к ней, наверное, не вернется, потому что прошло уже два года, а от него ни письма. «И если так, пусть все идет прахом. Ты, сахалинский бродяга! Судьба у нас с тобою злая, нехорошая, а мы назло будем хуже ее».

— Эй, иди сюда! — повелела она хрипло. — Чего смотришь в небо, как дурак? Ну, поцелуй меня.

Он поцеловал ее, и рот у него был прохладный, свежий, словно он только что попил ледяной родниковой воды. Масико обхватила широкое мужское тело и прижалась лицом к теплой груди. И вдруг услышала, как в глубине чужого человека раздаются знакомые глухие, могучие удары. Но не все ли равно, чья тень падет на пустое поле. Пахарь, идущий за плугом, издали всегда один и тот же — задумчиво и покорно согнутый над ручками плуга. А себя, жизнь свою, Масико увидела теперь как бы издали. И в отдаленности этой была такая невнятная сиротская печаль, что Масико не вынесла ее и заплакала у чужой груди, как у ствола немого дерева. Затем, подняв лицо к вершине этого дерева, Масико хотела что-то сказать — и вдруг упала на песок, сжалась в комочек. Она иссякла, как бы уснула мгновенным глубоким сном, и земли под собою больше не ощущала.

Прохладный песок под руками, шелковистые складки песка. Рядом тьма моря, из которого встают, держа друг друга за плечи, черные морские великаны, встряхивают белыми кудрями и вновь пригибаются вниз, во тьму, загадочно и долго шипят! Затем выходят на землю вереницей, друг за другом, и, нависая огромными, как горы, черными телами, вознесясь головами к небу, раскачиваются и пляшут, тяжко топчут берег. Но вдруг они застывают на миг и стоят, выкатив замершие негритянские глаза, — и, отдав тишине ночи это странное мгновенье, великаны вновь пляшут, осыпаемые звездными искрами, а затем уходят обратно в море. И тогда встают огромные волны, будто выходя из берегов, ревут, но волны падают на сырой песок, разбиваются и затихают, и тогда слышно становится, как где-то вблизи шуршит под песчаным ветром брошенная на берегу сухая бумага.

Нет. Это может быть лишь однажды. Верность любви не придумана, Масико это знает. Есть вещи, которые отпущены на долю человека всего по разу. Одно рождение и одна смерть, и между ними — всего одна жизнь. Юность уходящая — одна, одна и любовь. Другой не может быть, другое — это муки, и стыд, и боль подмены.

Нет, если было у тебя т в о е, то ничего больше и не надо, решает Масико. Когда теряешь любовь, ее место стремится занять смерть. И если боишься ее, не хочешь ее, то ищешь подмену. И научишься грызть руки и плакать, когда никто этого не видит. И полюбишь, как пьяница вино, далекие сны юности. «Я несчастливая, — думает Масико. — Боже, так неужели я потеряла то, что дается всего лишь однажды? Как быстро...»

— Садись, — приказывает Масико стоящему рядом человеку. — Давай поговорим. Скажи, ты шофер? Как ты мотор починил?

— Нет, не шофер. Но у меня, Машенька, была своя машина. Стоит сейчас, наверное, там в гараже...

— Значит, ты богатый. Я всегда знала, что ты непростой. Скажи, а жена у тебя есть?

— Нет, Машенька...

— Я не верю! — погрозила Масико пальцем. — Вы всегда говорите «нет». Не верю — и все. Скажи, а как ты сюда попал? Ну, говори правду, наконец.

Он оглянулся вокруг — и словно увидел близкие неясные окраины своего сна, в котором была июльская звездная ночь, плескались великаны в море, а на берегу сидела женщина с черными, распущенными по плечам волосами, которая пожелала вдруг, чтобы он ее поцеловал, и тут же словно позабыла об этом поцелуе. Какую правду он мог ей поведать?

— Не хочешь говорить — не надо, — спокойно ответила она на его молчание. — Только я все равно знаю, кто ты.

— Кто?

— Ты тоже несчастливый.

— Я врач... Был врачом, — заговорил после долгого молчания человек. — Была у меня жена, ты угадала. Теперь нет ее.

— Развелись?

— Нет. Просто ушел сам потихоньку... Знаешь, Машенька, я неплохо лечил. Были у меня свои лекарства, для одного из них я брал ламинарию, которую теперь собираем со стариком для тебя. Был я таким добрым доктором, с широкими манерами, научился даже говорить солидно, баском. Мне низко кланялись, хотя был я и платный врач, и довольно дорогой. Жена у меня была журналистка, очень красивая; прожили мы с нею восемь лет.

— Дети есть?

— Не было. Нас считали хорошей парой. И я так думал. Я считал: у меня красавица жена, красивая жизнь, деньги — и все потому, что я такой особенный, способный. Но есть, Машенька, один непреложный закон жизни: что ты для людей, то и люди для тебя. И как ни хитри, каким обманом ни окутывай свое настоящее отношение к ним, ты получишь свое сполна. Это я узнал потом, когда сам заболел и попал в больницу. Жена приходила навещать, а по ее глазам я видел, что ей жутко и нехорошо бывать у меня: она, конечно, все знала о болезни. И только тут я стал понимать, что жена моя такая же, каким был и я. То есть она жила, считая, что у нее красивый муж, привольная жизнь, машина и все прочее лишь потому, что она всего этого была вполне достойна. Я-то считал, что она моя заслуженная награда в жизни, а она, оказывается, точно так же смотрела на меня. И в общем, выходит, мы друг друга стоили. Когда она поняла, что я безнадежен, то я, Машенька, стал ей не нужен. Может, я что-нибудь и преувеличил, но тогда подумал именно так. И я решил уйти...

— Вот ты какой, оказывается! — воскликнула Масико. — Знаешь, про такого, как ты, я знаю одну сказку. Я тебе потом расскажу...

— В больнице меня нашпиговали лекарствами и выпустили. Но я-то знал, что через месяц все равно вернусь и тогда уж лекарства не помогут... И вот я здесь, рядом с тобой. Ничего не понимаю! Месяц прошел, чувствую себя в общем неплохо и никак не могу протянуть ноги. Ощущение такое, будто обманул кого-то, даже стыдно порой: уж больно торжественно я был настроен, когда ехал сюда. Ха-ха! — Человек рассмеялся, откидываясь назад на руки и запрокидывая лицо. — Машенька, я сам врач, я знаю: при этой болезни крови так долго не может тянуться.

— Эй, врач! — вдруг тоже оживилась Масико. — А ты можешь мою дочку полечить?

— Что с нею?

Масико рассказала. Человек внимательно выслушал, затем молча принялся собирать по берегу щепки, палки и разжег костер, почиркав спичками. И когда огонь разгорелся, он взял пылающую смолистую головню.

— Подожди здесь, — сказал он, — а я пойду травки наберу. Сделаешь лекарство для девочки.

— Только скорей! — забеспокоилась Масико. — А то дочка может проснуться.

И он ушел в темноту, направился вдоль берега, и Масико издали видела его факел, рисующий в воздухе красные дуги и зигзаги. Вскоре он вернулся и протянул Масико снопик трав. Среди них она узнала мелкую ромашку, тысячелистник и метелки зрелого конского щавеля. Он объяснил ей, как приготовить лекарство.

— Что же ты, врач, здесь гуляешь? — сказала Масико. — Врач должен людей лечить.

— Вот я и полечу твою девочку, — улыбнулся он.

...Он проводил ее до самого дома. И пока они шли, Масико рассказала ему любимую свою сказку о верной жене и недостойном муже, и сыпались сверху звезды, и взлетали навстречу им огненные змейки искр над оставленным костром, и во сне, вернувшем ему давний сон юности, заливался тонким смехом старик До Хок-ро, и ухало во тьме море, полное чер-

ных великанов, и Масико умолкла, рассказав сказку, а человек тихо произнес:

— Какая странная, грустная сказка.

— Тебе нравится? — спросила Масико.

— Знаешь, если приглядеться, то всякая жизнь и есть сказка.

— Нет, — тихо возразила Масико. — Очень похоже, но нет.

«Может быть, и нет, — думал человек. — Но в сказку мы прячем все, о чем не осмеливаемся мечтать всерьез. Побеждаем чудищ, достаем живую и мертвую воду».

До Хок-ро снилось, что он молод, у него крепкие, быстрые ноги, ловкие руки. Он стругает рубанком пахучую липовую доску. На окраине Осака, куда он приехал из Кореи на заработки, под железнодорожным мостом находится мастерская, в которой изготовляют шкафчики для игрушек и кукол. Хозяин ценит и любит такого хорошего работника и придумал новое имя для него — Мацумото. А он, Мацумото, или До Хок-ро, знай почесывал острым рубанком свистящую доску, пока не брызнула из нее кровь. И тогда он испугался: как бы не рассердился на него хозяин. Он и то сердится, хозяин, что Мацумото — Хок-ро поглядывает на молодую клейщицу, имя которой уже давно позабыто. То была кудрявая, худенькая, большезубая девушка, очень бедная родственница хозяина. Наверное, за то, что она нравится бездомному работнику, хозяин вогнал ее каким-то образом в доску, поставил доску в угол мастерской, а он, не зная того, взял ее и стал обстругивать. И вдруг появился толстый полицейский. «Мацумото!» — закричал он с порога. «Да, господин!» — «Мацумото, ты должен идти в солдаты, на войну!» — «Но я ведь старый уже», — отвечает Хок-ро и хихикает. Он действительно старый, весь сморщенный, и стоит он, прижимая спиною к стене липовую доску. Ему неловко и страшно: надо бы поклониться полицейскому чину, но нельзя, потому что тогда упадет доска и все откроется. «Но я ведь старик», — вдруг снова вспоминает он, и ему становится совершенно безразлично, упадет доска или нет. И он чуть отодвигает спину от стены. Доска падает.

До Хок-ро проснулся, поворочал глазами в темноте, ничего не видя вокруг, и вскоре заплакал. Он вспомнил, что клейщицу ту звали Тэруко, она однажды загнала себе в руку щепку, и он бросился к ней на помощь, но никак не мог вытащить занозу из-под посиневшей кожи. Тогда он нагнулся к ее руке и зубами выдернул эту занозу. И только тут хлынула кровь из раны. Тэруко зажала ее рукою и посмотрела на До Хок-ро так, как никто после ни разу не посмотрел на него. А заплакал старик потому, что вспомнил свадьбу Тэруко. Хозяин выдал ее за рыбника, и на свадьбе было весело, и До Хок-ро веселился, суетился и усердствовал больше всех. Прошло много времени после свадьбы, и однажды она пришла в гости к хозяевам. Когда ей пора было возвращаться домой, пошел дождь, и хозяйка отправила До Хок-ро проводить ее с зонтиком. И они шли по мокрой улице, а он держал над нею раскрытый зонт. «Мацумото, — сказала она, — ты же весь вымокнешь». — «Ничего, госпожа», — ответил он, и далее они не произнесли ни слова. Она была в праздничном ярком кимоно, на высоких колодках — гета. До Хок-ро шел босиком, закатав до колен штанины... С тех пор прошло уже около полувека, наверное, и он много раз забывал ее имя и вновь вспоминал, как вот и сегодня ночью.

Но вполне может быть, что и это ему приснилось: что он вспомнил имя Тэруко и заплакал. Потому что было совершенно темно и тихо, и непонятно, на самом ли деле он проснулся или продолжает спать. Пройдет еще немного времени, и явь, и сон станут для него совершенно неразличимы, и он снова забудет облик и имя Тэруко, и увидит он вместо нее двух лягушек, скачущих возле лужи верхом на палочках, или какую-нибудь другую кошмарную чепуху.

На рассвете протяжно заскрипела дверь, затем стукнула, и До Хок-ро опять проснулся и на этот раз увидел в серой полумгле неясную высокую фигуру человека и не понял сначала: кто это? Память его была временно пуста после многих сновидений, улетучившихся в миг глухого удара двери, и лишь постепенно стал понимать До Хок-ро, кто он такой, где находится, на чем спит... Его зовут До Хок-ро. Он старик, в молодости пожил в Японии, там звали его Мацумото, теперь он в заброшенном доме, на песчаной косе. Рядом с косою широкая полоса светло-серого песка, туда в жаркий день приходят из города сотни людей, никого из них не знает старик, а если и знает, то и это все равно ни к чему, потому что он ходит среди них ни на кого не глядя, — смотрит всегда себе под ноги. И этот вошедший был одним из них.

Голубой остров над морским горизонтом

Масико в этот день пришла рано — люди еще только начали появляться на пляже. Она вынула из сумки чистое полотенце и зеркало, затем бритву и ножницы, завернутые в одну бумагу, и все это разложила возле сидящего на постели человека.

— Вот, бери, постриги. Чего ходишь как старик? — сказала она, указывая на его отросшую густую бородку. — А вы, дядя Хок-ро, снимайте рубаху, я постираю. — И она положила на зеркало кусок желтого мыла — мыло легло на мыло. — Скоро я уезжаю, — объявила она и улыбнулась: да, люди, она уезжает, уезжает к мужу. И пусть что угодно говорят подруги из пошивочной мастерской, она никого не станет слушать. К ней пришло письмо, наконец-то пришло письмо! Заведующая не соглашалась дать расчет — пусть берет отпуск и съездит сначала, убедится сама, что ее ожидает, а потом увольняется, если не поумнеет. «Нет, Марина Сергеевна, дайте мне расчет, я все равно уеду...» «Любимая, глубоко почитаемая супруга моя Масико, — говорило письмо, го-

ворило голосом ее мужа, и было слышно по этому голосу, что хлебнул он горя, ее чернобровый красавец. — Любимая... Печальный звон сигнального колокола будит нас поутру, и я просыпаюсь в холодном бараке и не знаю, то ли роса пала на мою казенную подушку, то ли это слезы вымочили ее — слезы раскаяния, уважаемая моя супруга Масико. Ибо даже во сне я не перестаю казнить себя за то, что вел себя недостойно и причинил столько горя вам, — поэтому и не писал, не осмеливался писать. Я заслужил свою судьбу и себя нисколько не жалею — мне жалко вас, что мучаетесь и растите нашу дочь одна, без мужской помощи... А может быть, Масико встретила другого, более достойного, и теперь слушает его советы?» И в голосе мужа слышатся тревога, тайная обида и ревность, ревность. Суровые зимы мучают стужей, а жарким летом пот заливает глаза, донимают на лесной работе комары и мухи. Пища арестанта скудна, хлеб всегда черствый, но не голод мучает его, не холод и зной, а поздняя боль раскаяния, никому не нужная, наверное, теперь... Строгий конвой стережет их неусыпно, днем и ночью на вышках стоят солдаты с ружьями, за колючей проволокой бегают страшные собаки, гремя цепями.

Когда по пятеро в ряду проходят они через поселок — колонна усталых рабочих в черных одеждах, — женщины смотрят на них грустными глазами, но нет среди них знакомых дорогих глаз, которые одни только могли бы утешить его. Шесть лет осталось ему еще, и он не знает, как прожить, перенести их... А она знает, как! Каждый день, зимой и летом, в дождь и снег, будет стоять она на краю дороги, по которой их проводят. Она будет стоять и смотреть на него, а в хорошую погоду возьмет с собой и дочку. Она будет надевать лучшее платье и дочку нарядит как следует — пусть отец видит, какие они у него. Она устроится в этом поселке портнихой, а не будет такой работы, на любую пойдет... Она все продаст и уедет, возьмет с собой только аккордеон. А жить в этот город они не вернутся, — когда в тот день он выйдет из ворот тюрьмы, все трое уедут куда-нибудь подальше. И там, вдали от всех, кто знал их горе и позор, они останутся навсегда и сотворят свою добрую сказку. А памятью об этих печальных годах останется его сверкающий, певучий аккордеон, на котором и дочь научится играть у отца, у нее хороший слух, она уже и сейчас так забавно поет песни, всем на удивление.

Человек вдруг громко рассмеялся, придвинув зеркало к самому лицу:

— А знаешь, Машенька, я не буду, пожалуй, сбривать бороду. Все равно ты уезжаешь.

— Ты что?! — возмутилась Масико. — Не стыдно?

— Нет-нет, мне так нравится, — заупрямился тот, — я только немного подправлю. — И он стал щелкать ножницами у лица, задрав бороду, косясь в зеркало. — Ну как, хорошо? — спросил он, вертя головой из стороны в сторону перед нею, улыбаясь.

— Как бандит, — рассмеялась Масико.

Она расстегнула и сняла с себя халат, осталась в синем купальнике, стала смотреть по сторонам, куда бы повесить халат, и повесила его на гвоздь у двери.

— И ты дай рубашку, — приказала она потом человеку, когда До Хок-ро, топчась у печки, стащил с себя рубаху и передал ей.

И вот они оба, старик и пришелец, сидят на завалинке, подставив солнцу плечи, упираясь ладонями в теплые доски, а возле ручья, который течет от водопада и вливается в море рядом с песчаным мысом, видна черная голова Масико, мелькают ее руки. Высоко над ними тихо кружится синее небо с несколькими белыми облаками. Над морем, которое в этот день тусклого, темного цвета, летает чайка, и она кажется значительной в этом пустынном мире, потому что, кроме нее, в небе никого не видно. Человек, касаясь заросшим подбородком плеча, смотрит на старика, тот, прищурив глаза, смотрит из-под кепки на птицу. Чайка тонко, печально, страстно вскрикивает и плавно машет крыльями. Человек разглядывает изломанное тело старика с детской грудью, со смешными клоками седых волос у ненужных мужских сосков. Человек задумался: вот рядом чудо, чья-то жизнь, что течет через это бедное тело, как ручей по своему руслу, а вон там, где этот ручей широко размыл песок берега, втекая в море, сверкают на солнце гладкие плечи, весело взмахивает рука, стучит палка по белью, и доносится сюда запоздалое — пак! пак! пак! — движения и звуки, связанные с другим чудом. Старик в широких серых штанах, изодранных понизу в бахрому, из них торчат потрескавшиеся ступни с сиротливо поджатыми пальцами. Похоже, что он задремал, надвинув на черные, скорбно изломанные брови козырек кепки. У старика чудной вид, тело его изношено и замучено. А вот та женщина сильна, хороша, лицо ее удивительно похоже на ее душу. У нее три имени — русское, японское и корейское, — но ни одно из этих красивых имен не определяет ее — все они случайны. Имя — это слово из нескольких звуков. Она и у него спросила, как зовут, и он сказал — произнес это недлинное слово. Она удовлетворенно кивнула, произнесла вслух его имя, запоминая, а ему стало грустно, будто она утвердила, произнеся это слово, что-то такое незначительное в нем и малое, принимая эту малость за главное и тем самым отобщая его от незыблемо постоянной — и в то же время меняющейся каждое мгновение — большой жизни моря, неба, земли, солнца, частью которого он хотел бы всегда ощущать себя и в эти последние свои дни. Заставив прозвучать это слово, женщина вновь вытащила на свет божий то, что должно было вскоре исчезнуть, потерять связь с понятным окружающим миром и с простым теплом всечеловеческого добра, которое она с веселым бездумьем несла в себе: так птицы несут в горлышках свои песни. Человек связывает себя со своим именем, но не именем он связан с жизнью. Втайне ему всегда грустно, потому что его — завершенного — еще нет, а ему все кажется, что он должен быть. Это беспокоит древняя

память, с которою он появился на свет и которая не проясняется, как бы мучительно он ни напрягал ее. И он ищет себя — на земле, в ночи и на свету, в многолюдье города и в лесу — и творит о себе мифы, не соглашаясь, что он простой сын земли, брат дереву и зверю. Удивленный, остановится он перед бездной, и хорошо, если на краю ее увидит человека, хотя бы жалкого старика, смиренно собирающего раковины на отмели. И хорошо, если он успеет вспомнить вовремя, что когда-то давно, в детстве, жил возле моря, на самом его берегу, в деревянной японской хибарке рядом с пограничной заставою. В тихую погоду голые солдаты купали лошадей, загоняя их в море напротив устья реки. Лошадь упиралась, не шла в воду, пугаясь небольшой волны, солдат рвал рукою повод и колотил ее пятками по бокам. А вдали, на горизонте, появился пароход под высоким пером дыма, и он казался мальчику такой же обычной частью моря, как чайки, рыбы, песок и камни на берегу, и женщины-кореянки, согнувшиеся пополам над блестящей гладью отмели, собирающие раковины, высоко подоткнув на ногах юбки; как старые катера и кунгасы, навечно засевшие в песок на берегу, запах водорослей и соленой воды и особенный, ни с чем не сравнимый вкус морских ежей, которых он собирал на отмели.

— Хозяин, пойдем проверим рыбу, — сказал он старику.

Рыбу? До Хок-ро согласно кивнул, вошел в дом и появился оттуда в пиджаке — ходить раздетым не привык. А незнакомец сбросил брюки, оставил их на завалинке и в одних синих вылинявших трусиках зашагал к морю. На берегу тяжелые волны с шумом бросались на песок, как толстые женщины, бывает, бросаются в воду, и мокрый песок сначала блестел, весь в шипучих пузырях, а затем сразу тускнел и темнел, когда вода уходила назад. В плотный сырой песок была воткнута короткая палка, к которой привязывалась леска. Человек обеими руками стал выбирать ее из воды, а старик встал рядом и смотрел, заложив руки за спину, как леска режет волну и медленно идет навстречу рукам человека и по ней бегут и срываются прозрачные водяные капли. Четыре крючка с наживкой было на леске, три из них оказались с рыбой. Широкая камбала с грязно-серым верхом и белым нежным брюшком то и дело крепко прилипала ко дну, за ней тащились, кувыркаясь в волне, две сверкающие наваги. Человек, подняв в руке леску с рыбой, качнул и бросил к ногам старика, тот присел и начал снимать с крючка шершавую мускулистую камбалу. У второй закидушки, которая была налажена недалеко от первой, грузило зацепилось за что-то, и человек полез в воду отцеплять. Он зашел по пояс, высоко поднимая локти, косо подпрыгивая, когда набегала волна. Вдруг он тонко вскрикнул, рассмеялся и нырнул, взметывая брызги вокруг себя. Потом он долго искал, шаря по дну руками, и над водой виднелась лишь его голова, поворачивавшаяся к берегу то лицом, то затылком. А старик смотрел на него и ждал, присев на корточки, держа на весу меж колен сетку с рыбой. Тяжелая камбала билась, вывертывая плоское тело, и сеточка раскачивалась. Человек в воде привскочил, выпрыгнув чуть ли не до колен, поднял над собою руку, и перед его лицом на невидимой леске затрепыхались две рыбы — одна камбала, а другая не то очень крупная навага, не то красноперка. Оказалось, красноперка, и старик обрадовался: будет чем угостить Масико, уха с красноперкой — самая вкусная уха.

Сняв улов с третьей, последней снасти, старик пошел к дому, а незнакомец остался наживлять червями крючки. До Хок-ро нес тяжелую сеточку и чуть не наступил на стриженую голову лежавшего на земле какого-то парня.

У дома старик увидел Масико и человека с удочками, длинные рыбацкие сапоги болтались на его ногах. Голенища были подвернуты, на одном резина порвалась и висела, как собачье ухо. Рыбак и Масико разговаривали, стоя далеко друг от друга. Масико оглядывалась через плечо, развешивая на огромных листьях лопуха выстиранные рубахи. Рыбак этот был кореец, но фамилию носил он русскую — Кузнецов. «Завтра, видно, будет дождь?» — спрашивала Масико, показывая рукой на далекий остров в море, который с самого утра четко выделялся в небе, темный, как и само море. «А кто его знает, — отвечал, скребя пальцем шею, Кузнецов. — Не всегда сходится, как остров предсказывает, не всегда. В иное время он неделями торчит на виду — и ничего, никакого дождя». — «Да, это верно, бывает и так». Масико расправила рукава мокрой рубахи, рубаха раскинулась на лопухе, будто обнимая листья. «А может, будет дождь, — продолжал Кузнецов, словно говорил самому себе, — вон у жены с утра ломило поясницу, да и у меня самого ноют поломанные косточки. Кто знает, когда вздумается быть дождю, сахалинская погода как сахалинская баба — никогда не угадаешь, что выкинет через час». И, махнув рукою, рыбак поплелся дальше, с трудом таща по песку тяжелые сапоги.

Женился он на русской женщине, шустрой и громогласной Клаве, которую боялся и любил, взял даже фамилию жены. Он вечно пропадает на море со своими удочками, а жена пилит его за это, она хочет, чтобы он купил корову и ухаживал за ней. Но Кузнецов о корове и слышать не хочет, ему только дай порыбачить — недаром его прозвали «морской дьявол».

С женой Кузнецов живет дружно. Однажды До Хок-ро и сам видел их в хорошую минуту: спрятавшись на Камароне, они отдыхали. Кузнецов, конечно, караулил у своих удочек, а Клава сидела сзади, вытянув на теплом песке ноги. Она была тихая, кроткая, склонившись вперед и вбок, расчесывала деревянным гребнем светлые реденькие волосы. До Хокро собирал тогда морскую капусту на берегу. Он прошел, нагнувшись, под прозрачными лесками кузнецовских удочек, натянутыми между морем и концами гибких удилищ. Оба они, муж и жена, поздоровались с ним, а потом удивленно стали смотреть на

подходившего к ним бородатого незнакомца — тот нес охапку мокрых водорослей.

Насадив червей на крючки, он раскрутил камень-грузило и забросил далеко в воду. Леска, кольцами срываясь с берега, взвилась в воздух и плавно легла на море. Набежавшая волна упала, сплющилась и растеклась в стороны. Он сполоснул руки в убегающей воде. «Врешь, — бормотал он, исподлобья поглядывая на синеющий вдали остров, — дождя не будет». Это огромное небо не так-то легко затянуть тучами. Ночью будет светиться неиссякаемой, непокорной синевой, и в нем будут густо шевелиться звезды. А наутро тяжелое алое солнце покажется из-за моря, и люди увидят новый день, такой же теплый и ясный, как и этот, сегодняшний.

Он смотрел в сторону города — берег, казалось, шевелился от собравшихся на нем людей. Они заняли весь пляж и продвинулись к самому Камарону. Парень подбрасывал рукою волейбольный мяч, женщина, вскинув руку, вставала с одеяла. Две тоненькие девочки шли к воде, обнявшись, закинув руки одна за шею другой. Усевшись кружком, подростки играли в карты. За мысом по склону дюны, наискось сверху вниз, сбегала светло-желтая худая собака. Она исчезла, скрывшись за кустами шиповника, а песок, потревоженный ее ногами, сдвинулся и пластом пополз вниз по крутизне склона. Над этим пластом шевельнулся песок еще в одном месте, а потом — выше, в другом, и скоро уже весь склон дюны тихо зашевелился, осыпаясь. И это бесшумное, медленное движение песка вдруг как будто перешло в него и в нем стало что-то плавно, сонно и неуклонно осыпаться, и закружилась голова, будто раскачиваясь на огромной высоте над землею. Он пошатнулся, вытянув вперед руки, но продолжал идти. Он смотрел на старика и Масико и хотел дойти до них.

Масико сидела на белесой, выглаженной морем и дождями коряге, старик стоял перед ней. Женщина перебирала рыбу в сетке, а старик смотрел на ее руки. Она подняла глаза навстречу подходившему человеку. И он, пошатываясь, как бы входил в ее взгляд, погружался в то чувство, которое светилось на лице женщины. Мягкие губы ее дрогнули, углы их потянулись в стороны, сверкнули белые ровные зубы — это улыбка, она охватывает ее тонкие, гладкие скулы и переходит к изогнутым морщинкам в уголках глаз, затем уходит в эти глаза и всплывает уже оттуда — особенным светом, какого нигде больше в окружающем мире нет. Тяжело опустившись рядом с женщиной, он заглянул в ее зрачок, как в маленькое окошечко человеческой вселенной, и увидел в нем себя и небо с облаками за собой.

— Что, Машенька, будем варить уху? — спросил он, чувствуя, как зыбуче и тяжело покачивается земля, отделяясь и медленно уходя из-под его тела.

— Ты хозяин, ты и угощай, — ответила Масико.

Она и старик находились на этой качающейся земле, и до нее было еще совсем близко — можно дотянуться рукой. Возле лица металась и нудно гудела синяя муха, человек слабо отмахнулся от нее. Земля тихо, по миллиметру, вновь приближалась к нему, и он, глядя на остров, затаенно ждал, когда земля коснется его ног.

Притча о верной жене и непутевом муже

Сегодня он шел по дюне, и ветер поднимал с его головы длинно отросшие волосы. Вдали он видел старика, маленького и темного на светлом песке. В стороне качалось пепельное море, матово-серое небо низким потолком ложилось на все видимое кругом, и глазам было тяжко от сплошного серого цвета. Даже зелень на сопках, даже старик, собиравший выброшенные на берег моря куски дерева, и само дерево, омытое и выглаженное водой, и песок, ровно прибитый ветром, и телеграфные столбы, наполовину занесенные песком, — все было подавлено глухотой серого, беззвучно серого цвета. И только семафор на краю залива, где железная дорога заворачивала к городу, — зеленый огонек без венца лучей — странно сочился из всего тусклого серого окружения, но этот крошечный огонь можно было попросту прикрыть ладонью. Старик прижимал к себе охапочку дров, а свободной рукой, нагнувшись, выдергивал из песка истертую волнами клепку бочонка. Он чуть обернулся, уставясь через плечо в ноги подошедшему. Он ничего не ответил и ушел, согбенный, а ведь его о чем-то спросили, но только, о чем именно, уже не вспомнить, да и не важно это.

Теперь он спит, этот молчаливый человек, усталый и равнодушный ко всему на свете. Он спит, долгое время дышит ровно, тихо, будто во сне прислушивается к чьим-то далеким шагам, а после вдруг начинает дышать беспокойно, метаться и стонать во сне, обиженно всхлипывать.

В распахнутую настежь дверь вплывает и выплывает синева ночи, с вечера небо очистилось, каким-то чудом свалив за морской горизонт всю беспросветную тяжесть серого, и теперь несколько звезд, стянутые невидимыми струнами в вечное созвездие, видны в небе за дверным проемом. Во тьме шумит море, не нарушая ночного покоя.

За ночь много раз будет метаться и стонать старик, — видимо, тот, к чьим далеким шагам он прислушивается во сне, подходит каждый раз к нему с каким-то злом или насилием. И в ту минуту, когда бред старика нарушал бесшумное движение ночи, человек оборачивался в темноте в сторону спящего и ждал, пока тот успокоится. Мысли его при этом замедляли свой ход, не обрывались, но скапливались, набухали в его мозгу, и надо было потом снова долго вглядываться в одну точку — на звезду, на слабо светящийся порог, — пока движение ночи и работа сознания не сольются вместе в едином порядке.

Синий проем открытой двери наискось прорезал след сгоревшего метеора, и человек приподнялся с доски, на которой сидел. Он выглянул наружу, дер-

жась рукою за притолоку, будто за углом дома ожидал увидеть прилетевший с неба камень. Было темно, безлунно, слабый отсвет неба и чернота земли встречались где-то высоко над кривой линией сопки, со стороны моря с шорохом наползали и шевелились во тьме волны.

Он вышел из дома, прикрыл дверь, стараясь не шуметь, и дверь покорно, по-кошачьи пропела несмазанными петлями. Он пошел песчаным покатым берегом, близко от воды и смутных призраков белой пены; уханье и всплески стали ему привычны и не мешали. Босые ноги скользили по прохладному песку, и он подумал: «Я иду как по шелку». Но порой что-нибудь колючее и твердое попадало ему под ноги, и тогда он пытался угадать, что же это — щепка, кусок пемзы, скорлупка ли от раковины. Но, отмечая все это и почти наитием находя путь в темноте и вовремя обходя валявшиеся повсюду бревна и коряги дикого пляжа, он думал об одном — всегда лишь об одном в эти бессонные, глухие ночи.

Он думал о всеобъемлющей тревоге, губившей его так же, как и тайная болезнь... Когда впервые коснулась его эта тревога? Тогда ли, когда он только что узнал о болезни? Нет, гораздо раньше, пожалуй, — еще в то время, когда он не знал, что земля шар и что обойти мир значит пройтись по кругу головою к звездам и ногами к земле. В детстве он всегда боялся уйти далеко от дома: ему казалось, что он дойдет до края земли и может упасть в бездну. Плач младенца — отчего он такой горестный? Не ощущают ли уже они эту тревогу? А теперь, у пределов жизни, ему хотелось понять: почему этот страх, этот отвратительный трепет материи? Ведь материя бессмертна. Вся его сущность, и сознание, и так называемая душа — тоже материя. Но почему она так страшится перевоплощения в другое состояние? Значит, врет лукавый разум, если не может принести успокоения, врет.

Он вышел к устью впадавшей в море реки, по ней плыли какие-то неясные темные тела. Здесь начинался город: дощатые крошечные домики, длинные японские бараки — глухие окна, черные трубы на крышах. Заглядывая в просветы между домами в глубь города, он видел редкие огни фонарей. Один из дальних огней сильно раскачивался под ветром.

Он ясно представлял сейчас перед собою людей, спящих в своих постелях. Множество распростертых в сонном забытьи человеческих тел. И он уже не испытывал к ним обиды. Они спят, а он стоит у самого края земли, один в ночи, и он такой же, как все, и жизнь в нем сейчас, а не смерть. И завтрашний свет солнца — жизнь, и тьма ночи сейчас, и его босые ноги на прохладном песке, и ветер, треплющий рубаху и волосы, и горький комок в горле — все это жизнь. А что такое смерть — живому никогда не понять. Она всегда чуть дальше или чуть ближе, чем он полагает.

И нет уже страха, и жалости к себе, и желания, чтобы его пожалели. Это все было там, за смутной, темной рекой, где остались все, знавшие его и которых он сам знал. Другое теперь вокруг, другое на уме. Звездная ночь обещает хороший день, и это теперь самое главное. Можно гулять по берегу, садиться на края лодок, слушать долгими часами море, заглядывать через неровные заборы во дворы прибрежных домиков или заходить туда и сидеть на лавочках — все это теперь можно, все имеет особенное значение, и всему этому по-настоящему нет конца, если суметь понять душу времени, — и благодарение судьбе, что дала ему покой последних этих дней.

Он шел, покачивая раскинутыми руками, по холодной железной трубе, наполовину засосанной песком; он поскользнулся и упал, больно ударился локтем о железо. Он закачался от боли, приподнявшись на колени, сжимая ушибленную кость рукой, — и вдруг упал на трубу, обнял ее, прижался к ней. Он сильно протер лицом по ржавому железу, обдираясь до крови и ничего не чувствуя, кроме того, что ему не нужны ни утешения, ни отчаянное отрицание этих утешений. Ему вспомнилось, как, выписавшись из больницы, он в тоске и страхе поехал домой, вошел в квартиру и сел на диван. Жены дома не было, не вернулась из своей очередной командировки. Он просидел на диване долго, а затем незаметно уснул. Проснулся весь в слезах, продолжая всхлипывать, — плакать начал еще во сне. Он хотел вспомнить, что же такое скорбное приснилось ему, но скорбь действительности была настолько значительнее, что ничего не стоило и вспоминать. И тогда он взял лист бумаги, на пишущей машинке жены отпечатал: «Прощай. Не ищи меня». После этого переоделся во все чистое и поехал на вокзал.

Вот какую сказку рассказала ему как-то Масико.

Жила в одном селении бедная женщина. Муж ее ушел в лес на заработки, да что-то пропал без вести. Ни писем от него, ни денег. В его отсутствие родилась у женщины девочка, но отцу некуда было и сообщить об этом. Питалась женщина почти одной травой, лишь изредка занимала рис у соседей. Дочь сосала грудь и потому голода не знала. Но соседи в конце концов стали неохотно давать в долг, потому что они больше не верили, что муж ее жив и с деньгами вернется домой. У одного человека умерла в это время жена, и он захотел взять ее к себе хозяйкой. Но женщина не дала согласия, она ждала своего мужа. И тогда соседи осудили ее, считая упрямой и глупой, и вовсе перестали давать в долг. Женщине ничего не оставалось делать, как уйти из селения. Она сшила из старой одежды две пары туфель, привязала дочь за спину и пошла по дорогам искать своего законного мужа.

Много дней шла она по незнакомым проселкам и по горным тропам. Маленькая дочь спала, приникнув щекою к материнской спине, а проснувшись, плакала. Женщина садилась с краю дороги и кормила ее грудью. Пока они странствовали, дочь от матери училась разговаривать. Ночевали они то в селах, у чужих порогов, то среди поля или в лесу. Порою ночью к ним подходили тигры, но не трогали их, потому что у беззащитных есть таинственная защита. Цапли на болотах не взлетали, когда они проходили

мимо, а старая мудрая лиса однажды отошла в сторону, оставив в траве большую кость, на которой оставалось еще немного мяса.

Две пары туфель, на подошвы которых пошел толстый войлок, истерлись до дыр, и женщина шла босиком. Молоко ее пропало от случайной скудной пищи, и она заходила в чужие селения, чтобы кормящие женщины брали девочку к груди.

И вот однажды в горах подошла она к уединенному домику. В этом доме жили холостяки рудокопы, добывавшие в тайных рудниках серебро. Среди них оказался парень шестнадцати лет, дальний родственник женщины. Они поплакали вместе, вспомнили родное село, и парень рассказал ей, пока она обмывала разбитые в кровь ноги, что муж ее находится недалеко, рубит лес. Родственник тут же взялся сходить за ним, потому что женщина идти дальше не могла. Он ушел, а к вечеру вернулся и сообщил, что на другой день муж придет за ней.

А ночью юноша подслушал, как холостяки толковали о том, что к женщине надо взойти, раз она ходит одна без мужа. Они ругались промеж себя и спорили, кому брать женщину. Не придя ни к какому согласию, рудокопы вздумали разрешить спор картами. Они разожгли огонь и сели за карты, а парень незаметно пробрался в комнату, где остановилась женщина, и все ей рассказал. Он показал ей нож, единственное оружие, которым мог защищать ее. Она поискала по комнате и нашла железную кочергу. Юноша распустил свой пучок на голове, женщина расплела косы, и они сплели волосы в единую косу. Затем легли вместе в постель, сжимая в руках каждый свое оружие. И когда холостяки с грубым смехом и шутками распахнули дверь и втолкнули того, кто всех обыграл в карты, он увидел, что в комнате ярко горит лампа и лежат двое, сплетясь волосами голова к голове. Увидел мужчина и нож в руке парня, и кочережку у женщины. По их глазам понял, что они готовы на все, и отступил. Другие рудокопы тоже заходили, смотрели на них и уходили, не трогая их, потому что им было ясно, что парня все равно не оттащить от женщины и его придется убить, чтобы овладеть ею. На это же никто из них не решился.

Так и пролежали они всю ночь, до утра, сжимая в руках железо, пока не пришел муж женщины. Увидев его, холостяки рудокопы так и покатились со смеху, потому что выглядел он как последний бродяга. Он не стриг своих волос и не собирал их в узел, у него была дикая борода, опаленная над кострами. Рудокопы решили, что такой дурень недостоин быть мужем красивой женщины, и хотели силой отбить ее. Пока они совещались, парень подпер колом дверь и велел своим родственникам скорее уходить. И они бежали, не выходя на твердую дорогу, потому что боялись погони.

Муж шел впереди, взбираясь с горы на гору, а жена с ребенком на спине едва поспевала за ним на своих израненных ногах. И вот они оказались у реки. Тут женщина застонала и опустилась на землю, не в силах идти дальше. Тогда муж подошел к ней и положил на ее колени сухую лепешку.

— Это все, что я заработал за все эти годы, — сказал он горестно.

И он повернулся и стал уходить. Жена смотрела вслед, держа в руке лепешку, а он уходил все дальше и дальше. И тогда она окликнула его. Он остановился и крикнул ей издали:

— Иди вниз вдоль реки, там село! А обо мне забудь, жена, я не могу прокормить даже себя одного!

И он полез на гору, хватаясь за корневища и траву, как зверь на четырех ногах, а жена звала его, причитала и плакала, и ребенок заплакал, проснувшись, а он уходил не оглядываясь. Немалые деревья, всегда покорно дающие срубить и распилить себя на куски, вдруг стали размахивать ветвями, как руками, и хлестать его по лицу. С ветки на него бросилась белка, обычно смышленая и веселая, а теперь свирепая и обезумевшая от ярости. Она метила вцепиться ему в нос по своей боевой повадке, но он успел отмахнуться от нее, а когда она вновь кинулась, то убил белку. Сорока летела за ним не отставая, садилась на ветку и плевала ему на голову. А он бежал, и крик жены преследовал его, и он зажимал себе уши.

Она превратилась в лесной дух, появлялась перед людьми всегда в белом, с ребенком на руках, и выводила из леса всех заблудших. А он превратился в черного ночного духа, тоскливого и угрюмого, и настигал тех, кто нечаянно уснет на земле под открытым небом. И в кого вселится он, тот уже перестает жалеть кого бы то ни было, кроме себя, бросает семью, детей, и от такого человека людям одна лишь морока.

Пожарники захотели пива

Начальник городских пожарников, некто Бут, и его подчиненный Витька Бурсой пили водку. Лодка с выключенным мотором тихо качалась на малой волне у берега. После рыбалки Бут и его солдат решили отдохнуть в свое удовольствие, спрятавшись от жен на Камароне.

До Хок-ро сидел под стеною дома и тыкал непослушной иглою в порванный резиновый сапог. В дом он не ушел потому, что ему было все равно, что делают те, на песке. Он сидел в тени, кепку с головы снял и положил рядом со вторым сапогом. Вдруг увидел он, как толстый Бут оглянулся через плечо на него, а Витька Бурсой, враг старика, склонился вперед и стал что-то говорить начальнику. Бут важно сбычился, взмахнул рукою и что-то крикнул. До Хок-ро понял, что это зовут его, но сделал вид, что не слышал, и остался на месте. Тогда Витька Бурсой поднялся и, загребая босыми ногами песок, направился к старику. Он приблизился, сел рядом и вроде бы с большим вниманием стал следить за тем, как идет ремонт сапога. Грудь пожарника и ноздри его глубоко дышали, источая винный дух. Наклонившись к старику, он заговорил:

— Обижаешь меня, старик! Ух, как обижаешь! Думаешь, что я украл твои гроши. А можешь ли понять, темная голова, что не трогал я твоих грошей? На кой они мне, подумай. У меня лодка, мотор «Вихрь», я рыбу ловлю, побогаче тебя буду. А на большой капитал Витька никогда не рыпнется, понял?

Но старик ничего не понял, он лишь уколол нечаянно палец и оттого страшно ожесточился. Сгоряча ему показалось, что пожарник выпил вина и теперь дразнит его, что так ловко сумел стащить деньги. У До Хок-ро от гнева сами собою сжались кулаки, он еще раз глубоко укололся. Выдернув иглу из пальца, он замахал рукою в воздухе, неприязненно косясь на пожарника. На пальце сверкнула алая кровь.

— Ты отсоси кровь, — советовал Бурсой, указывая на ранку. — А не то паутиной залепи... У меня есть жена, — продолжал он, — Нинка моя, да две дочки. И совесть Витька Большое еще не потерял. Так вот: пускай лодка в море потонет, а девки мои по миру пойдут, если я украл у тебя деньги. Понял? — сердито закончил он.

До Хок-ро сидел, глядя на раненый палец: как набухает на нем, а затем падает на песок кровь, мгновенно свертываясь в темные шарики. И старик удивлялся, что кровь его такая же алая и свежая на вид, как и в молодости. Похоже, что она не постарела вместе с ним.

— Говорят тебе, не брал я денег, худой ты старик! — сердился пожарник. — Бог ты мой, да ведь он же день и ночь думает, что я вор! — волновался он. — Проклятый старикан!

Старик сунул окровавленный палец в сухой песок и посмотрел в упор на врага: «Хотя ты и украл мои деньги, но теперь-то мне наплевать. Сердце мое остыло...»

Когда же он открыл глаза, рядом с ним оказался пожарный начальник Бут. Выпятив большой розовый живот с выпуклым пупом на его вершине, Бут стоял перед стариком и говорил, нарочно ломая речь:

— Старик, твоя что тут делай?

— Ладно, не пугай его, Леонтьич, — заступился Бурсой. — Живет же такой человек на свете... эх! И еще думает, что я вор...

— Раз он так думает, то я должен с ним побеседовать, — вызвался Бут и внушительно продолжал, обращаясь к старику: — Ты почему здесь живи? Кто разрешил? Завтра я присылай бригаду и твою хибарку ломай-ломай, ясно?

— Отвали, Леонтьич, — увещевал Витька своего начальника, — ты его не дразни, он и так напуганный, как хорек. А ведь лучший друг мне был, пока не засволочился!

— Друг, говоришь? — словно бы удивился Бут и высоко воздел густые брови. — Тогда... — сказал он задумчиво, — надо послать его за пивом. Га?! — вскрикнул дюжий Бут и ошеломленно захохотал.

Он протянул старику синюю денежную бумажку и строго проговорил:

— Пиво. Пиво, понимай твоя?

До Хок-ро давно уже все понял. Толстый офицер пожарников желал веселиться дальше. Ему, видимо, захотелось пива. И придется теперь, конечно, идти за этим пивом. А вдруг Бут и впрямь пришлет рабочих, чтобы они сделали «ломай-ломай» на Камароне. Масико уехала, сказала, что вернется лишь к концу лета, куда девать всю морскую капусту, сушеную траву и шиповник-ягоду? Нет, начальство сердить не надо. Ведь в круглом глазу Бута как бы приплясывает маленький огненный демон...

Ах, если бы тут был его больной сосед, он бы поговорил с пожарниками и все уладил. Но тот с утра ушел куда-то к Чайкино, глядя на ходу в сторону моря. Что ж, придется теперь за все отвечать одному До Хок-ро. Так и влез он в непочиненные свои сапоги и захлопал ими по тропинке. Выходя с Камарона, он оглянулся и увидел, как Витька сидит на песке, а дюжий Бут стоит над ним и хохочет во всю глотку, держась за живот.

Вскоре стали попадаться навстречу отдыхающие у моря люди. Два парня садились в мотоцикл с коляской. Они укатили на вихляющей и грохочущей по дороге машине, подняв тучу пыли, и До Хок-ро шагов двести ругал их, пока пыль не рассеялась вокруг него. Деньги он держал в руке, боясь потерять, то и дело подносил кулак к лицу и смотрел, цела ли бумажка. От пота, пыли и жары ему захотелось воды — умыться бы и попить. Он пошел бы побыстрее, но рваный понизу сапог выворачивался вбок и проклятая скользкая нога выскакивала прямо на землю.

Люди шли навстречу в белых рубахах и цветных платьях. Они шли к морю с довольными лицами, кто с сумкой, а кто налегке, закатав рукава рубахи. У женщин были гладкие загорелые руки, почти у каждой часы. До Хок-ро утирался рукавом пиджака и косился на встречных, боясь смотреть прямо в лицо: а вдруг кто-нибудь из них знает, что много лет он нищенствовал и копил деньги, а потом напился пьян и дал себя обокрасть...

На море сверкали длинные волны, в глазах рябило от людей на берегу, счастливо визжали детские голоса. У колодца, который был накрыт будочкой, До Хок-ро остановился. Он стоял и смотрел вверх, на сопку, пережидая, потому что в будочку полно набилось смеющихся парней и девушек. На сопке он увидел какую-то русскую старушку в черном платье и белом платочке. Вытянув перед собой ноги, она сидела и глядела на море. Парни и девушки все смеялись, одни уходили, но подходили другие, еще и еще, все веселые, полуголые. До Хок-ро махнул рукой и пошел дальше, не умывшись и не попив воды.

Попил он уже в городе, из колонки возле моста. По нему шли и шли люди, кто на море, а кто с моря, мелькали разные зонты, ноги стучали по доскам настила. Перешли мост солдаты с оружием, подошли к колонке и стали пить. Они жадно нагибались к воде, спины у них были мокрые от пота. Стояла самая жаркая пора на Сахалине. Один солдат вынул папи-

росы и закурил. Он протянул пачку и кивнул — бери, мол. До Хок-ро замотал головой — нет, он не курит. Вытерев мокрое лицо кепкой, он пошел дальше, ему надо было спешить.

Пива не оказалось в том краю города, где море, — все выпили. Пришлось До Хок-ро идти к магазину напротив клуба. В этом магазине все еще подымались горой яркие банки со сладкой рыбой, но старика они уже не манили. Он стал последним в хвост очереди, издали расправил в руке деньги. Широкая продавщица, когда он отдал бумажку, что-то спросила, и До Хок-ро поспешно закивал головой и сказал: «Пиво». Она опять спросила, и он повторил: «Пиво». И тогда она стала класть перед ним бутылки, стукая ими о прилавок, наложила столько, что старик перепугался. Он стоял и думал, что делать, но тут продавщица начала ругаться, покраснела, и тогда он положил в карманы штанов две бутылки, еще две в карманы пиджака, а остальные сгреб, как дрова, и пошел к двери.

Только он вышел на улицу, как из пиджака выпала бутылка. Собака, лежавшая рядом с крыльцом, поднялась лениво, подошла, понюхала лужу, а затем посмотрела на До Хок-ро: ну, старик, что наделал? Отпихнув собаку ногой, До Хок-ро сошел по ступеням и стал припоминать по отдельности каждый карман — нет ли еще какого дырявого? Оказалось, что все они более или менее худые. До Хок-ро остановился, испугавшись, но тут сообразил, что если бутылки в карманах штанов и выпадут в прорехи, то не на землю ведь, а в сапоги. Так что разбиться может только то Бутово пиво, что в кармане пиджака. Но было похоже, что бутылка засела крепко.

За одну разбитую бутылку начальник не казнит его, да, может, и не заметит — вон их сколько. Пройдя шагов сто, До Хок-ро почувствовал, что устали руки. Он бы отдохнул, да сесть было не на что — деревянный тротуар занимать нельзя, когда идет так много людей. Под настилом тротуара плескались и крякали утки, там текла грязная вода. Неизвестно было, в каком месте сумели утки найти лаз под тротуар и где потом вылезут.

Доски настила от пыли и времени стали серыми, кое-где желтыми заплатами лежали подремонтированные участки. И вот на таком именно месте, где меньше всего ожидал, До Хок-ро провалился ногой, наступив на переломленную пополам новую доску. Он чуть не боднул головою землю, но на ногах удержался, однако три бутылки выпрыгнули из рук, как рыбы. Три бутылки с зияющими дырками в боку валялись на дороге, все рядышком. В руках у До Хокро остались всего две. Можно было ударить ими одна об другую и осколками порезать себе лицо, а потом уйти куда глаза глядят, чтобы все позабылось.

Как раз в этом месте сбоку тротуара оказался пенек от спиленного столба, на него и уселся До Хокро, поставив по бутылке на каждое колено, держа их за горлышки. Вдруг одно колено почуяло мокрое, под штаны просочилось пиво и потекло по ноге. До Хок-ро поднял бутылку вверх — дно ее осталось на колене, и шипучая влага хлынула ему в сапог.

До Хок-ро задумался. Демон, что плясал в глазу начальника Бута, следил за ним издалека. Он, злобная и насмешливая нечистая сила, решил, видно, поизмываться над стариком и перебить одну за другой все бутылки. С ним До Хок-ро тягаться, конечно, не мог. Если дело обстоит так и само небо против него, то он может успокоиться — он не виноват.

Идти с четырьмя бутылками легко, но лучше бы уж мучился он и тащил все девять. Пять бутылок украл у него демон. Беда была настолько большой, что старик шел и ничего не видел вокруг — одни мелькающие чьи-то ноги. О, это были спокойные, беспечные, счастливые ноги. У них на щиколотках просыхала соль от морской воды. Они осторожно обходили провалы на тротуаре и не желали ступать в прах улицы, по которой брел До Хок-ро.

Четыре бутылки — груз легкий, три в карманах, одна в руке. Начальник Бут ожидает много пива, а До Хок-ро принесет ему всего четыре бутылки. Где остальные пять, старик? Демон выпил, начальник, демон, который пляшет вон в том глазу.

До Хок-ро вскоре выбрался к морю. Одна нога, которой он провалился в дырку, болела. Усталые ноги протащили его вместе с оставшимся пивом мимо будочки колодца, у которой по-прежнему шумела и толкалась молодежь. Справа, где сверкало море, звенел смех, шумели падающие волны.

Старик донес благополучно четыре бутылки и поставил перед Бутом и его пожарным солдатом. Начальник посмотрел на бутылки, посмотрел на До Хок-ро и вдруг замолотил диким смехом. Смеялся он потому, что видел перед собою самого бестолкового на свете человека. Стоило два часа бегать по такой жаре, чтобы принести две пары бутылок пива, в то время как он, Бут, выпивал разом целую дюжину! Но, взглянув еще раз на До Хок-ро, потного, с почерневшим лицом, Бут смягчился и сказал: «Сдачи не надо, старик, деньги оставь себе. Пей пиво!»

Витька Бурсой губами отделил железную пробку от пивной бутылки и протянул пиво старику. До Хок-ро стал пить, подняв бутылку над собою, и тут подумал, что хорошо бы сейчас подоспел его больной товарищ, тоже угостился бы пивом. Старик скосил глаза сперва направо, потом налево, но никого перед собою, кроме пожарников, не увидел.

Ты не брат ли мой, муравей?

Человек пошел за лестницей, которую они прятали за домом, в кустах лопуха и кислицы. Им приходилось опасаться теперь воров — однажды у них сняли с крыши много провяленной камбалы, пока оба ходили на сопку за травой. После этого незнакомец и придумал прятать лестницу за дом. Так было проще, чем снимать и уносить всю рыбу.

Свалив с себя на землю охапку мокрых, глубиной и холодом пахнущих водорослей, До Хок-ро стоял лицом к углу дома, за которым исчез незнакомец: сначала голова и плечи скрылись, затем мелькнули босые ноги. А теперь, ожидал старик, должен появиться из-за стены конец лестницы, а потом сам человек, несущий ее на плече. Время шло, а незнакомец с лестницей не появлялся. Но надо было вывешивать длинные ремни морской капусты на крышу, и старик терпеливо ждал, вслушиваясь в шум, плеск и удары волн, падавших на берег за его спиной, бездумно глядя на то, как сильный ветер треплет летящую ворону. Она рвалась против ветра, тяжело загребая крыльями, и двигалась вперед с трудом, медленно, как во сне. Но вдруг она свернула в сторону, и ее тут же подхватило и прочь унесло порывом. До Хок-ро опустился на завалинку у двери, поднес к лицу руку и стал рассматривать больной палец, обмотанный тряпицей. Палец нарывал, тихо садня, тряпица взлохматилась, и длинная нитка от нее тянулась и билась на ветру. Старик оборвал нитку и отбросил, взглянул на море, на сбитые тугими комочками, быстро бегущие облака. Волны моря и облака на небе неслись в одну и ту же сторону. Волны прыгали, как лошадиные гривастые головы на беспокойных шеях, и несчетно велик, страшен был их дикий табун. Между облаками ярко вспыхивало и потухало солнце. День был ветреный, но теплый; ветер согревал, а не холодил тело, и за Камароном берег был усеян купальщиками. Большие зеленые волны нагоняли одна другую, поднимались стеною и рушились на песок, и шум стоял от них по всему берегу, будто кидали на землю огромные мешки с зерном.

А незнакомец все не появлялся с лестницей, и До Хок-ро недоумевал: что он может делать за домом столь долго? И вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову: а что, если человек упал на землю и умер? Масико уехала, к концу лета вернется, а затем снова уедет. Нету Масико, а тут еще и этот человек... Что делать, если он и на самом деле умрет? Но нет, не может быть такого. Масико уехала, когда шли дожди, а через несколько дней дождь прекратился, и с тех пор стояла ясная, теплая погода. Солнце грело изо всех сил, отдавая последним летним неделям все, что могло отдать. Пришелец чувствовал себя хорошо, был весел и бодр, и старик думал, что он вылечился и скоро должен уехать домой.

И тут — как будто приставили к груди До Хок-ро сверло, и нажали, и повернули, сверло глубоко вошло острием внутрь — край сердца кольнуло дурное предчувствие. Он вспомнил, что в доме висит на гвозде пиджак человека и еще кое-какая одежда лежит в головах постели. Вспомнил старик о часах, которые тот давно отложил на подоконник, — они лежат там стеклами вниз и пылятся, хорошие золотые часы. Они пили воду из одной бутылки, по ночам каждый из них слышал кашель другого и возню его на постели слышал. И на обоих Масико оставила крупу, рис и соленую редьку в кастрюльке.

С треском ломая стебли кислицы, из-за дома выскочила желтая собака, присела на тощий зад. С ужасом взглянув на До Хок-ро, с ужасом оглянувшись назад, откуда выскочила, собака тявкнула, будто ее ударили, подскочила и понеслась с Камарона, поджав хвост. И До Хок-ро, испугавшись чего-то, вскочил на ноги и тоже пошел вон от дома, прямо к одинокому на мысе дереву и мимо дерева, что качалось на ветру, будто бегущая женщина, пригибавшаяся на бегу и отворачивавшая в сторону лицо. Старик торопливо пробежал через весь пляж, ни на кого не глядя, пробрался к кладбищу рыбачьих катеров и барж и спрятался там в обломках старого японского кунгаса. Одолевая удары и всплеск волн, сюда доносились людской крик и смех, теплый ветер врывался в пробоину старого судна. Эти веселые люди играли в свои игры, бросались в волны и плыли по ним, ни о чем не подозревая. А вечером уйдут они в город, будут гулять кучками по улицам, многие пойдут в клуб, где показывают понятное для них кино, а другие сядут на станции в вечерний поезд и уедут кудато. Они будут мелькать в окнах домов, скрывая за занавесками свою домашнюю жизнь... И никто из них не знает теперь, что совсем недалеко в больших пыльных лопухах сидит смерть и смотрит на них. У нее жадный, дурной взгляд, песок хрустит на ее зубах. Они не знают, что смерть другого человека — это не просто чужая смерть, а их собственная, потому что смерть для всех одна и та же.

У своих ног старик видел мелкий чистый песок и муравья на нем. Муравей быстро перебирал лапками, но вперед продвигался медленно. «Ох, старик, — застонал До Хок-ро, — зачем ты все еще живешь и что тебе делать с собой, если все еще живешь? Вон бегают на берегу, прыгают в волнах, лежат на песке — отыщи среди них себя, отыщи этого незнакомца! Не отыщешь. Нет среди них вас, нет, — сто, двести, тысяча лет прошло уже — отыщи попробуй себя и ты, незнакомец, попробуй отыщи себя. Все забыто. А люди бегают, прыгают и веселятся, и они все такие же, и они всегда веселятся в летний погожий день у моря. Но только нет среди них тебя, старик, и тебя нет, незнакомец, — потому что вы лишь приснились самим себе и только вы одни и видели эти сны. Скажи, старик, зачем ты столько лет копил деньги? Неужели для того, чтобы их у тебя украли? Скажи, муравей, не мой ли ты младший брат, умерший от оспы в младенчестве? Не жена ли ты моя, не ребенок ли мой, которых никогда у меня не было? Куда ты стремишься, муравей? Неужели знаешь, что ждет тебя там, за этой щелью, к которой ты так упрямо карабкаешься через сыпучий песок?»

Вдруг он услышал, как воет пурга. Уже, оказывается, пришла зима. Он выглянул в дверь и увидел Камарон, весь заснеженный, на сопках от снега получились белые и черные пятна. Закрыв поплотнее дверь, он принялся щепать топором доску и растапливать печь. Огонь вспыхнул, пламя рыжими клочьями полезло из щелей печки между кирпичами.

Грозно постучали кулаками в дверь — он открыл и никого не увидел. В тучах резвился месяц, острый, как кончик ножа. На сопке кто-то плакал, море шевелило на волнах чем-то белым. Это шуга, догадался старик, скоро и большие льдины нагонит. Он повернулся и хотел идти к своей постели, чтобы прилечь, и тут увидел незнакомца. Тот стоял в углу, прямой, высокий, упираясь головой в потолок.

— Хок-ро, собирайтесь в путь, — приказал незнакомец, и тут старик понял, что перед ним — дух умершего человека.

— Эге, слушаюсь, — поклонился он духу и стал обуваться. Он никак не мог найти один сапог, потом махнул рукой — все равно тот был настолько плох, что не стоит о нем беспокоиться. Так и остался он стоять в одном сапоге, не зная, что делать дальше. И тут ему захотелось лечь в постель, отвернуться к стене и уснуть. В голове у него закачалось, где-то далеко нежно запели.

...Старик проснулся и увидел грубые швы на своих резиновых сапогах. Оказывается, он уснул, спрятавшись в старой деревянной барже.

Уже сильно завечерело, воздух сгустился, отяжелел и растекался совсем невысоко над землей. Тихо дышало в лицо еще живое тепло дня, а со спины уже охватывала прохлада подступающей ночи. Небо очистилось, синева его, полиняв к вечеру, перешла в желтизну меда. Ветер утих, покрасневшее солнце разбрызгивало свои прямые лучи совсем низко над водой, от него по морю текла огненная река. По всей земле пошли длинные розовые полосы и синие тени. Грустные жемчужные змеи извивались в переливах успокоенных, мерных волн. Прозрачные яркие лоскуты легли на землю между тенями от листьев лопуха. На склоне сопок свет ярко и мощно вспыхивал, разгораясь на глиняных оползнях и разломах бурых скал среди ровно светящейся зелени.

Ноги у старика затекли, он пошатнулся, поднявшись. В лицо ему ударило солнце, и старик долго смотрел на него — на солнце уже можно было смотреть. Он стоял среди развалин крутобоких барж и катеров, маленький, узкоплечий старик, вытянув вперед, как корова, согнутую шею, лицом к лицу с солнцем. Из-под засаленного, мятого пиджака выбился подол убогой рубахи, над рваными резиновыми сапогами нависали пузырем широкие штаны. Голова старика с отросшими серыми волосами была открыта, кепка его упала на землю, пока он спал. Теплый ветер задувал ему под рубаху, обтекая его тонкие ребра.

Старик стоял и смотрел на солнце долго, будто оцепенев, — и скоро все вокруг стало исчезать, — все, кроме косматой глыбы огня. От солнца тянулась золотая паутина, и она достигала лица старика, охватывала щекочущим теплом его виски, скулы, подбородок — все лицо по кругу, — и перед ним в середине этих огненных тенет моргал зелеными глазами огненный паук. «Ты, всемогущий владетель жизни, не добрый и не злой, ты можешь хоть сию же минуту вонзить в меня свое жало... Ты дал мне много лет непонятной жизни, можешь дать еще столько же, хоть я и не прошу, — думал старик, — и каждый миг, каждое движение этой жизни принадлежит не мне, а тебе, владетель!» И старик стоял перед солнцем смирно, как ученик школы перед учителем, готовый к послушанию, равнодушный, спокойный и чуждый своих страхов, желаний и помыслов. Он постиг в этот миг бесстрашие и равнодушие, безнадежность и свободу, — не он отвечал за все то, что выпало ему и еще выпадет.

«Я никогда не считал себя важным, всем уступал дорогу, ни у кого ничего не отнял, — что ж, я могу смело смотреть в твои глаза, владетель. Бери меня хоть сейчас и делай со мною что хочешь. Мне не о ком тужить, я ничего не могу потерять кроме того, что ты дал, хозяин. В молодости я умел считать деньги, а потом разучился, потому что много раз на моем веку они менялись и я их терял, оказывается. Под конец я стал собирать деньги не считая, заталкивать их в мешочек, чтобы только был поплотнее комок, потому что мне было приятно, когда бумажек много, пусть старые там или новые, — я ведь не собирался их тратить...»

Много лет он копил эти деньги, вкладывал в тайный мешочек маленькие билетики надежды, — хотел, ощущая их плотную тяжесть, когда-нибудь быть не смешным, не последним среди людей, выпрямить привычную к поклонам шею, — да не сбылась его мечта. «И это, может быть, хорошо, — думал старик, томясь, — потому что перед кем мне гордиться, если надо мною всегда был хозяин и он смотрит теперь на меня зелеными мудрыми глазами...» И До Хок-ро опустил свои глаза, До Хок-ро нашел и поднял с земли кепку, надел на голову и пошел к Камарону.

На пляже люди нехотя вставали с песка, нехотя одевались и медленно уходили с берега, сожалея о прошедшем дне. До Хок-ро шел, печально глядя им вслед: всех их обволакивала теплая паутина, обволакивала, грела, и убаюкивала, и приводила неизменно к смирению старости.

Подойдя к дому, он остановился. Налетел сильным порывом случайный ветер-побродяга, стал раскачивать пыльные листья лопухов. И До Хок-ро вошел в лопухи, огромные сахалинские лопухи, которые были до плеч ему. Они шелестели, копошились под ветром, как бестолковое стадо свиней, кланялись и выпрямлялись, и ветер ударял песчинками в эти широкие, как зонты, продырявленные черные листья. Раздвигая их рукой, старик шел сквозь ветер, несущий песок и звонкие людские голоса. Он глядел на стену дома, и ему казалось, что не он пробирается, спотыкаясь, к стене, а что она движется к нему, тихо шипя под песчаным ветром. И у самой стены он увидел на земле человека. Он лежал, раздвинув чуть в стороны ступни, белевшие на земле, оскалив зубы, и это старику показалось настолько нехорошо, что он чуть не повернулся и не ушел назад. Вдруг тот шевельнулся, открыл глаза и, лежа не-

подвижно среди лопухов, улыбнулся своей обычной долгой улыбкой. До Хок-ро подошел к нему и присел на корточки.

Ночная стража

Что-то томило их, что-то мешало им спать в эту душную ночь — то ли кузнечики, забившиеся в щели стен, то ли невнятный призыв жизни, продолжавшийся без них на темном морском берегу. До Хок-ро и его товарищ покинули свои печальные ложа и, не сговариваясь, один за другим вышли из дома на воздух. Море прохладно и чисто дохнуло в лицо им, свет всех звезд сосредоточился на них, и они легко понесли на плечах тяжесть беспредельных звездных пространств.

До Хок-ро послушно шел вслед за человеком, имени которого не знал, не знал и цели его, — но снова для старика нашелся тот, кому он мог бессловесно повиноваться, которого он хотел видеть с самого утра, едва лишь осознав себя после временной смерти сна. И, как бывало всегда в его жизни, старик не спрашивал у своего разума, кто же тот человек, которому он беспомощно отдает всю свою действенную сущность — способность идти куда-то, относить и приносить что-то, работать над чем-нибудь не сложным. Он не выбирал тех, с кем сближался, — выбирали его, если находили это нужным, а он всегда подчинялся, находясь в готовности где-то рядом, немного в стороне, чтобы не особенно лезть на глаза человеку.

Они шли по ночному пляжу, черному, как черная исполинская тень, и по рваному краю этой тени призрачно шевелились белые буруны. Тьма берега казалась еще гуще оттого, что там и сям мерцали красные, раздуваемые ветром огоньки, непотушенные остатки костров, у которых вечером сидели поздние любители моря. Они ушли теперь домой, разбрелись парами в темноте, наспех закидав огонь песком, но сухие толстые куски бревен, изъеденные глубоким тлением, трещали и щелкали под ветром, продолжая гореть. Издали эти огни выглядели полнокровными, яркими кострами, и было странно подходить к ним и не видеть сидящих вокруг людей. Чудилось, что они, сговорившись с лукавой целью, только что отбежали в сторону, спрятались в темноту и оттуда следят за теми, кто подходит к огню. Но, может быть, это так и было, а не просто чудилось, потому что тьма пляжа была беспокойна от шатающихся безмолвных фигур, от коротких всплесков сразу же подавляемого смеха, от шепота невидимых губ и шелеста потревоженной одежды. Чьи-то белые ноги вдруг поджимались, отодвигаясь с пути двух бредущих отшельников; кто-то крепкой рукой отстранял До Хок-ро, не давая ему столкнуться с собой, и на мгновенье сверкали светящиеся зеленые точки на часах. От тлевших бревен звонко отскакивали раскаленные угольки, прочерчивая красную дугу в темноте, и треск при этом был похож на краткий нетерпеливый звук поцелуя.

Нет, было беспокойно на ночном берегу, и не нравилось До Хок-ро, что они, два бездельника, ходят среди этих занятых возней и поцелуями теней, мешают всем и путаются у них под ногами. Лучше бы оставались они на Камароне и полежали бы на прохладном песке, подложив под головы удобные камни, подремали бы под шум моря и пошли бы потом спать. Но спутник молчаливо вел вперед, и До Хок-ро покорно шел за ним.

Недавно они помылись горячей водой, нагрев ее в котле для парки трав, и человек срезал с его бедер потемневшую веревку, на которой когда-то висел мешочек с деньгами. Незнакомец с грустной усмешкой разглядывал эту веревку, утончившуюся от долгого употребления, потом привязал к ней камень и утопил в море. До Хок-ро равнодушно проследил взглядом, как летел камень, трепеща в воздухе веревочным хвостом. Когда разошлись круги на воде, человек сказал:

— Старик, ты собирал деньги, оказывается. Даже ты, старик! Не понимаю: зачем тебе нужны были эти бумажки? Давай лучше собирать траву, это приятнее и вернее. Бумажка может только шелестеть, а трава может сберечь чью-нибудь жизнь. Я тоже был собирателем трав, я знаю.

Что-то острое попало под босую ногу старика, и он клюнул головою во тьму и натолкнулся на спину спутника. Тот обернулся к нему, освещенный неясным отсветом костра, и придержал от падения за плечи.

— И чего мы бродим, старик, чего? — сказал он, отпустив До Хок-ро. — Пойдем посидим у огонька.

И он подошел к мерцающим головням, припал на четвереньки и стал дуть на красные прожилки полуобгоревшего бревна и прислонять к его потрескивавшей огненной ране случайные щепки и бумажки. Вскоре под его руками ожило и затрепыхалось пламя, осветив небольшое пространство по кругу. До Хок-ро уселся с морской стороны.

До Хок-ро смотрел в костер и видел в его огненных струях какие-то красные, расцветающие и тут же опадающие цветы, всадника, вдруг переломившегося пополам вместе с конем, огнебородого мудреца, читающего книгу. Товарищ старика тоже смотрел в огонь и видел там алого цвета город, в котором над громоздящимися друг на друга домами реял пламенный текучий воздух. Шевелились толпы граждан на улицах, словно струи огненных зерен. Вдруг пылающий воздух завихрился, и пошел дождь светящихся алых искр. Граждане тотчас раскрыли зонты, которые ярко вспыхнули под налетевшим ветром, и отблеск этих вспышек окрасил багровым густым цветом все узлы и морщины на лице старика. Изломанные брови его, словно заново наведенные углем, стали кромешно-черными и толстыми.

Кто-то вблизи них вскрикнул счастливым голосом, женскому голосу стал вторить мужской, и вско-

ре они стали удаляться, ублаготворенно затихая. До Хок-ро и его спутник сидели рядом и смотрели неотрывно на огонь, и лица их были серьезны. Старик утомленно закрывал глаза и подолгу держал их закрытыми, его товарищ изредка, не отрывая глаз от костра, прижимал бороду к груди и медленно поводил головою.

— Завтра будет восход, и это огромное явление, старик, — вдруг заговорил он, слепо глядя в огонь. — Ночь тоже огромное явление. Звезда в небе что-нибудь да значит, старик. И ты тоже огромное явление, и я. Смерть тоже огромное явление, но вот взметнется она на пути от земли до неба, а о ней мы ничего не знаем. Я был врачом, мне приходилось иметь дело с умирающими, — что ж, и у меня умирали, — но никогда, оказывается, я не знал по-настоящему, что это такое. Также и теперь не знаю, и мне стыдно, потому что отпущена была мне целая жизнь, за которую я должен был серьезно и с любовью постигать смерть, как и жизнь равным образом. Но я считал, наверное, что это других касается, не меня. И вот я стою перед нею, и стыдно мне... Когда я околею, старик, ты зарой меня в песок и сверху пальцем напиши... Нет, ничего не пиши, а только проведи маленькую черточку. Постой рядом, смотря, как ветер будет заносить песком. И когда останется лишь ровное место на белом песке, то скажи... Ты спишь, старик, зачем я только говорю все это.

До Хок-ро спал, уронив голову и согнувшись над своими коленями, будто застыв в низком поклоне огню. Руками он слабо держался за ступни скрещенных ног, кепка свалилась с головы на землю, серые волосы его беспомощно повисли. Томительный теплый свет костра и чужая тоска одолели душу старика, и он ушел ото всего этого в забытье сна.

А вокруг них на пол-Земли разостлалась темнота, мерцали в ней забытые огоньки костров, шелестел песок под ветром, и звуки поцелуев мешались с щелканьем подскакивающих раскаленных угольков. И где-то шла уже ночная стража, подходя к ним со стороны моста, и круг света от электрического фонаря метался по песку, выхватывая из ночи то корягу, то растрепанную газету на песке, то человеческое лицо, ослепленное ярким лучом.

— Ты уснул, старик, а я хотел сказать тебе самое главное, — говорил человек. — Ну да ладно, спи себе, бедняга, — все равно слов моих тебе не понять, и все равно ты все понимаешь, потому что ты добрый человек. Над Землею, старик, вокруг Земли не только воздух, не только магнитные поля и розовый свет Солнца — над Землею скопилось огромное количество энергии, и, когда умирает добрый, не злой, энергия эта увеличивается еще немного. И она никогда не исчезнет, и ее все больше скопляется там, вверху.

До Хок-ро слабо простонал во сне и мотнул из стороны в сторону лохматой головой, и тень за его спиною, падавшая от костра на стену ночного неба, огромно качнулась. Пробежал через весь пляж стремительный ветер, раздувая алые соцветия покинутых костров.

Два пограничника береговой охраны, сержант и рядовой, неслышно подошли к костру и остановились в темноте позади сидящих. Сержант подал товарищу знак рукой: тише! — и бесшумно поправил на плече автомат. Это был ночной патруль. Солдаты знали, что один из двоих, сидящих у костра, чудной старик, известный каждому в городе, он живет в заброшенной хибаре на мысе и собирает морскую капусту. Второй же был неизвестен им и не похож на обыкновенного гражданского, гуляющего в этот час по берегу моря. Лицо его, тревожное и строгое, показалось подозрительным сержанту, к тому же неизвестный был бородат не по-здешнему, оборван, бос и говорил что-то странное:

— Я хотел одинокого конца среди величественной природы, которая утешит меня за все, а нашел тут тебя, старик, и Масико. Нет, старик! Прекрасная природа не может утешить человека. Человека может утешить только человек. Я успокоился рядом с тобою, старик. Ты будешь на земле повсюду, вечно, в тебе моя надежда. Вы берете на прокорм себе от самой земли — берете жизнь своими темными, первыми руками человечества, срывая траву с земли или погружая эти руки в море. Вы ближе других к печали праха и глины, и вы больше, чем другие, знаете цену жизни. Ах, если бы мне разрешили еще одну жизнь! Жить — что знают об этом те, которым неизвестно ваше безмолвное согласие с жизнью... Старик! Вы, добрые люди, бессмертны. Когда ты умрешь, старик, ты не пойдешь в землю, ты взлетишь вверх.

Сержант выступил из темноты в круг света и остановился по другую сторону костра, прочно расставив ноги. Это был скуластый крепкий парень с прямыми русыми волосами, падавшими на уши из-под пилотки. Его широкое деревенское тело низко опоясывал солдатский ремень, бляха жарким золотом вспыхнула при свете костра.

— Кто такой? Что тут делаем? — спросил он, твердо глядя в глаза сидящему человеку.

До Хок-ро очнулся при звуках незнакомого сурового голоса, который ворвался в его легкий, путаный сон. Старик поспешно поднял с земли кепку и покосился на сапоги и провислые колени ночной стражи.

— Я человек. Сидим и беседуем, — ответил с обычной своей грустной усмешкой больной товарищ старика.

— Вижу, что не лошадь, — сказал сержант. — Покажь документы.

— Нету документов, — развел тот в стороны длинные руки.

— А где они?

— Нету.

— Ну ладно, поговорим в другом месте, — решил сержант. — Подымайся, пошли.

— Вот и конец, старик, — говорил человек, привставая. До Хок-ро остался сидеть на месте, низко опустив голову и глядя исподлобья в огонь. Больной

врач улыбнулся. — А я-то горевал, что мне с собой дальше делать. Прощай, старик! — сказал он, уходя. — Часы оставь себе на память. Машеньке привет передай. Ну...

И он пошел в ночь рядом с солдатами, высокий, выше их на голову, сутулясь и выворачивая на песке босые пятки. До Хок-ро смотрел вслед уходящим этим ногам, растерянно моргая и пересыпая песок из горсти в горсть. Они скрылись во тьме, махнув огненным фонарем, постепенно затихли их голоса в далекой глубине ночи.

И вдруг совсем рядом грянули молодые смеющиеся голоса, взорвали ночь шумным весельем. «В зеленой куще жизни мы играющие дети», — пели молодые люди в темноте. И До Хок-ро поскорее отвернулся от костра, чтобы те, что пели песню, не заметили его мокрого от слез лица. Почему он начал плакать, До Хок-ро уже не помнил, но к концу своих слез подумал о том, что жизнь прожил без всякой пользы для этих смеющихся, радостных людей.

Тут он вспомнил уток, крякавших и плескавшихся под деревянным тротуаром в городе, и подумал: «Где же был мой вход в эту жизнь и где будет выход? Ох, если бы вначале я выбрал другой вход! Тогда не шел бы по этому узкому коридору, по которому я должен был идти, пока не превратился в глупого старика. Если человек остается навсегда одинок в жизни, то он в чем-то виноват перед небом. Но я хотел бы знать, в чем моя вина, чтобы как-нибудь искупить ее. Я боюсь уже оставаться без людей, я думаю: кто же подаст мне последнюю чашку воды?..»

Исчез незнакомец, увела его стража.

Ушла в ненастный день с Камарона Масико.

Все уходят в свою жизнь или в свою смерть, и слова их больше не звучат в воздухе.

Слова, истраченные людьми

И снова моросило, и серое ветошное небо шевелилось над самой вершиной сопки, мелкий дождь без любви кропил землю и море, в замершую душу человека врывалось дикое воронье: «Ай-о! Ай-о!» До Хок-ро шел по берегу и вспоминал, как уходила Масико с Камарона, как черный плащ и черный зонт ее пропали с глаз — исчезли за той чертой, за которую скрывается всякий уходящий. Старик знал, что все уходящее приходит куда-то. Вот в солнечный день люди идут толпами из города и собираются на берегу моря, а уходят с моря — возвращаются обратно в город. И поезда, — стальные ленты рельсов обязательно приведут их на какую-нибудь станцию, где ждут эти поезда. Так и время, — проходящее мимо и отлетающее прочь секунда за секундой, оно ведь тоже должно накапливаться где-то!

Над скалистыми сопками, над серым песком берега пока что течет лето, то в блеске солнца и синеве моря, то во влажном месиве дождей и туманов, и приходят и уходят люди, любящие игры на море, дети и рыбаки с удочками. Проходящие мимо, они шуршат ногами по песку, бренчат мелочью в карманах, шумно дышат на ходу и бодрыми голосами переговариваются. А проходящие вдалеке бесшумно передвигают ноги, машут руками, и голоса их, пролетающие сквозь воздух, звучат всегда чисто, звонко и неуловимо. Стоит лето над землей, морем и людьми, хорошее короткое лето этих мест, и зеленеют сопки густой травой, покрываются оранжевыми саранками, непроходимым стелющимся бамбуком, диким лимонником среди тесноты лесной чащобы, а на берегу, на дюнах, цветет, отцветает пахучий шиповник, наливается потом ягодой, и в море играют нерпы, прыгают серебряные горбуши, порхают бабочки над волнами — и все это не зря, ничто не исчезает, потому что будущим летом такое же опять повторится, а в прошлое лето все было точно так же.

Но вот другое: слова людей, движения одушевленных рук и все, что могут выразить глаза, и улыбки — добрые, злые, веселые и грустные, — и многое другое, во что облачается душа человека, чтобы показать себя, — куда все это девается, куда? Вот рослый, тяжелоногий парень что-то крикнул, а затем поднял над головою обе руки и помахал ими, а потом побежал и догнал девушку, длинноволосую, с медной кожей, идущую по сырому песку вдоль самой воды, и он обнял ее за плечи, и вот они уже вместе идут, топча босыми ногами кружево желтоватой пены, которую море расстилает на их пути и тут же стягивает обратно к себе. Вскоре эти двое пройдут и скроются с глаз, уйдут за дюны, и можно бы их найти, встретить вновь — можно опять встретить того же самого человека, но где же это: как он бежал с ленивой слаженной силой в движениях тела, как обнял девушку и заглянул ей в лицо, как вел ее и что-то говорил, говорил улыбаясь? Этого уже нет, этого нет, и совсем другое теперь перед глазами: пустой берег, мокнущий под дождем, море, прячущее даль простора за пеленой тумана, и два дома на Камароне, как двое грустных бродяг, накрывших свои головы ветхими мешками.

Прозвучал гудок далекого парохода: «Туман! Туман!» Ворона сипло откликнулась: «Ай-о! Ай-о!» Брел вдоль кромки моря какой-то человек, темный плащ его блестел, мокрый, и видимый в тумане край моря тоже казался мокрым.

До Хок-ро повернулся, пошел назад, и теплый дождь поливал, поливал его. Пиджак на плечах и локтях промок у него, по лицу бежали струйки воды, — но сейчас вокруг старика носятся, извиваются, прыгают золотистые призраки — каленные на солнце тела молодых мужчин и женщин. Они ловят мяч, бьют по нему руками, и летит над ними огненная птица — доброе солнце, и звучат среди ударов волн и шиканья пены слова, слова, выражающие радость и боль души человека.

Масико спрашивает: «Почему?» — и смелые глаза ее смотрят прямо, в них отражен огонь погожего дня. Пришелец отвечает: «Я болен, Машенька, я че-

ловек с чужой кровью». Масико смеется в ответ, показывая чуть ли не все свои ровные блестящие зубы: «Врешь, кровь у тебя своя, как у всех».

И снова До Хок-ро видит перед собою лицо незнакомого пришлого человека, пересекаемое стеклянными нитями дождя. Обычная улыбка теплится на этом лице, прозрачном и сером, как туман, из которого оно возникло. На море тускло, печаль на море лежит такого густого серого цвета, и дождь цедится в эту тусклоту так давно!

Но все это находится где-то там, позади, а перед стариком светится белый песок, и от него голубоватыми струями переливается в небо горячий воздух, и в этих струях возникают, сгущаются, расплываются и вновь возникают золотистые облака. И старик смущен, потому что облака эти — не что иное, как дымящееся под жарким солнцем бесстыдство молодых желаний. Вот вытянулось облако в длинное тело — и огромная призрачная, невесомая дева, вскинув над головой руки, широко разбросав ноги, проплыла перед лицом старика, и прежде чем она снова обратилась в облако и унеслась затем к небу, он в один миг успел заметить заалевшую ее щеку, и пот каплями над верхней губой, и синюю щелку полузакрытых глаз, которые хотя и потонули почти во сне, но бессовестно звали, просили, умоляли и звали. Вдруг обдавало старика запахом чистого дикого зверя, и по лицу его будто скользили тысячи прядей паутины. Что-то горячее и мягкое толкало старика, и он пошатывался и оглядывался и только тут понимал, что совсем близко — будто прямо сквозь него — прошли двое, те двое, которые всегда ходят вместе на дюны рвать цветы шиповника. Парень высок, темен курчавыми волосами и крепок, как солдат, а девчонка обыкновенная, длинноволосая и гибкая. Это от нее исходит тот дикий телесный запах. Они ложатся на песок совсем близко от старика и сливаются в поцелуе так, будто один человек хочет навечно войти в сущность другого. И До Хок-ро отворачивается, не желая смотреть на них, и опускает глаза.

Если бы он поднял глаза и внимательно вгляделся перед собою взглядом, могущим проникать в иное время, то мог бы увидеть Масико и пришельца, сидящих рядом на белой, вымытой морем и дождями коряжине, и себя увидел бы невдалеке, с рыбьими кишками в руках. Больной человек говорил, вглядываясь во что-то в море, он чуть хмурился, ведя рассказ. «Во мне нет уже, наверное, своей крови — много раз переливали чужую, хорошую. А потом отпустили. Вроде бы настало улучшение. Но при этой болезни так и бывает, Машенька, я знаю. И сроку остается человеку что-то около месяца. Что может человек сделать за месяц? Не знаю. Я решил поехать сюда — и вот сижу теперь здесь, а прошлого больше не существует для меня. Все хорошо, только мучают меня иногда воспоминания, эти призраки иного времени».

Чуть раскрыв шершавые розовые губы, Масико вертела и трясла пальцем в ухе, выбивая из него застрявшую водяную горошину. Сегодняшний день и был для нее сегодняшним днем, призраки иного времени не мучили ее сейчас, стояла хорошая погода, и Масико просыхала на солнце, недавно выйдя из воды. Послюнявив бугорок на ладони, она стерла возле округлого колена соль, проступавшую белой полоской. Ее голова с высоко уложенными волосами, которые берегла она от морской воды, беспечная ее голова легко склонялась то к одному загорелому плечу, то к другому. При этом ладные ее груди, как два круглых добрых существа, дышали, казалось, каждая по отдельности.

Настоящий миг неуловим — тут же становится прошедшим, и слово, сорвавшись с губ, улетает в вечность, будто на стремительном ходу поезда человек выплюнул окурок в дверь тамбура, а не слово сказал. И будущее неизвестно, и если льет дождь, и за полосой влажного песка море стелется ровное, серое, тяжелое, и над морем шевелятся вороха отсыревших туч, если видишь какого-то человека в блестящем, скользком плаще, идущего одиноко вдоль воды, и видишь раскорякой стоящую возле лужи ворону, натужно выгибающую шею и кричащую: «Ай-о! Ай-о!» — то все это не прошлое и не будущее — потому что видишь, и не настоящее — потому что оно неуловимо. Притихнув, с остановившимися глазами, человек проникает взором в то пространство, в котором время уже никуда не движется.

До Хок-ро поднял у ног мокрый камень и запустил в ворону, кричавшую у лужи, и та подскочила, поджала лапы и полетела над мокрым берегом, похожая на перепуганную старуху, которую чуть было не убили. И в эту минуту раздвинулись тучи и в голубое отверстие быстро скользнуло горячее, брызжущее огненными каплями солнце, — тогда склон сопки вспыхнул яркой дорогой зеленью камня изумруда, а море рядом и небо вокруг еще глуше попригасли. Синей искрой сверкнула и канула куда-то ворона; край света прянул по песчаному покатому берегу дальше — и словно зажглась яркая лампочка в сумерках, яркая лампа в маленькой комнате, — и сразу же исчезли призрачные видения, и уже ничто не напоминало о том, что есть какое то время иное, чем настоящий миг, что ушедшее время бормочет голосами людей и предстает перед тоскующими глазами в своих давно истлевших красках.

Старик увидел Камарон — светящийся песчаный мыс, ожившую под солнцем зелень одинокого дерева и серебряных два домика. К одному из них он направился, и в нем раньше лежал больной человек, которого надо было утешить, — так велела Масико, уезжая. Над этим домиком торчали два шеста с перекладиной, на которой вывешивалась в ясную погоду морская капуста и сушилась рыба, нанизанная на веревочки. Вытирая испачканную руку о влажные штаны, До Хок-ро шел по тропинке к дому, жмурясь под неожиданным солнцем.

Несколько дней назад в этот дом зашли двое, мужчина и женщина. У молодой женщины были длинные до плеч волосы, она словно беспрерывно

глотала и никак не могла проглотить какую-то пищу и смотрела на До Хок-ро сквозь большие темные очки. Мужчина был высок и лыс, с густым, повелительным голосом. Их слова гудели, порхали вокруг старика и лопались без всякого смысла, словно мыльные пузыри. До Хок-ро ничего не отвечал на вопросы, упорно глядя в угол, тогда женщина присела рядом на бревно и сняла очки. И До Хок-ро увидел, что красавица эта глотала свои слезы. Вытирая платочком глаза, она стала показывать ему фотографию, на которой среди больших столов находился бывший сотоварищ До Хок-ро. Он знакомо улыбался старику, был одет в белый халат, в руке держал полураскрытую книгу. Женщина о чем-то скорбно спрашивала у До Хок-ро, старик в ответ медленно покачивал головою: мол, не понимаю. Он поднялся и, спотыкаясь о бревна переводин, пошел к окну, достал золотые часы. На пыльной доске подоконника остался от них темный круглый след. До Хок-ро отдал часы женщине, которая могла быть женою или сестрою исчезнувшего незнакомца, а равно женою или сестрою этого лысого человека. Эти люди знали, очевидно, всё о том больном человеке, а До Хок-ро не знал даже, жив ли он теперь. Но старик знал, что каждое расставание с человеком может быть вечным расставанием, и знал также, что всякий уходящий за горизонт жизни остается бессмертен, пока его помнят другие. Мужчина и женщина незаметно ушли, и вскоре густо, равнодушно зашумел на улице дождь. Солнце исчезло...

И вот через несколько дней оно вдруг выскользнуло из-за туч, осветив Камарон, белый песок, море и сопки побережья.

Но солнце быстро пробежало Камарон и стало передвигаться дальше, выхватывая, как свет прожектора, яркие белые и зеленые куски из приглушенного темного дня. На минуту врываясь в тусклую глубину просыревшего насквозь дня, солнце весело ободряло покорную, скорбящую жизнь, показывая иную — яркую и счастливую — ее возможность.

А на опустевшем пустыре, по которому только что расхаживал человек, бесился по лужам ветер, трепал и рвал мокрый бумажный хлам, валявшийся на пляже.

— Мне оставалось жить недели три, не больше. А я уже месяц живу здесь, — удивлялся незнакомец.

— Ничего! Ты еще сто лет проживешь! — смеялась Масико.

Солнечное светящееся пятно передвинулось к дальней стороне залива. Желтой чищеной медью загорелись длинный мол на волнорезе и шпиль маяка над пирсом. На пустыре же опять было глухо и темно, и хлюпало в лужах, когда набрасывался прибежавший от моря ветер-хлестун.

А на молу сидел кореец-рыбак в длинном плаще с капюшоном, в резиновых сапогах. Это был маленький, темноликий, крепкий человек с горбатым носом, веселыми глазами. Он сидел на чугунной тумбе причала, посасывал мокрую, потухшую папиросу и смотрел на гибкие удилища трех спиннингов, лежащих на бетонных плитах мола.

Когда под минутным солнцем засветились бамбуковые удилища и засверкали на пирсе круглые влажные бока фанерных бочек, наваленных высокими штабелями, и вода осветилась чуть ли не насквозь, до самого дна, и в ней заиграли серебристые наваги, — рыбак поднял лицо и, сморщив гармошкой лоб, посмотрел в небо, затем в даль моря. Чутье рыбака ему подсказывало, что назавтра будет хорошая погода, и к тому же в голубеющей над очистившимся горизонтом полосе неба и намека не было на далекий остров, что предвещало бы продолжение плохой погоды.

Пловец в открытом море

Голубой остров в далеком море! Многих отважных пловцов манил он к себе. Но отмеренная в равной доле с человеческой мощью отвага была слабее неизвестной угрозы пустынного моря. Однако тайные мечты многих пловцов копились исподволь и как бы свелись под конец в один остроконечный курган, похожий на тот остров, и на вершину этой общей тайной мечты был вознесен самый отважный и сильный.

Простирая вперед руки и вытягиваясь всем телом, он погружался лицом в воду, делая при этом кипящий пузырями выдох, а затем поднимал голову и, загребая руками в стороны, шел вверх, на воздух, чтобы вобрать его в грудь. Разводя ноги и потом ножницами вновь сводя их, Эйти работал ими, словно веслами, а руки у него работали как пара других маленьких весел, вперемену с большими. Гибким телом он приноравливался к воде так, чтобы тело скользило по ней, словно с горки на горку, вторя повадке волны. Он плавал в море давно и знал, что эту повадку переняли все плавающие обитатели моря — рыбы, нерпы, дельфины. Вода не любит, когда ее расталкивают, бьют, она любит, когда по ней скользят. Хороший пловец потому неутомим, что понимает и любит воду.

Эйти не знал, как это можно утонуть в воде, — ведь она держит. Она не хочет, чтобы ты утонул, а ты выкатываешь глаза, надуваешь щеки и колотишь руками и ногами как попало, теряешь силы. Дурак, не выкатывай глаз и не надувай щек — в щеках ты не много воздуха сбережешь. И не кричи так жутко, пойми, что в твоем крике столько же ужаса, сколько и глупости. Пойми, что вода хочет, чтобы ты шел вверх, а не вниз, дает тебе жить. Жить можно на воде, лежать, словно в мягкой постели, и смотреть в голубое небо, и вдыхать его в себя. Вода добра к тебе, как воздух и как земля, а ты колотишь ее и вопишь, вот ты даешь! Ложись на нее и лежи, раскинув руки, словно чайка крылья.

На шее Эйти болталась большая милицейская свистулька со шнуром. В голубых плавках торчала английская булавка. Вот и все снаряжение Эйти, с

которым он на долгие часы уходил в море. Эйти мог бы жить в нем, как рыба, если б не холод воды. Вода всегда холоднее воздуха, и здесь нет ее вины, уж так она устроена. Но на поверхности моря всегда попадаются тонкие пласты, дорожки, змейки и волоконца нагретой воды, и они ждут озябшего пловца. Умей, пловец, находить это парное молоко тепла в холодном океане, грейся и плыви! А если долго не попадутся теплые водяные поляны и судорогой вдруг сведет ногу, то вынь булавку из трусов и уколи сведенное место — сразу пройдет. Так считал Эйти и брал с собою булавку.

А зачем нужен милицейский свисток? Он нужен милиции, чтобы звать на помощь. Однако Эйти, вольный пловец моря, не мог на это рассчитывать, он скользил с одной водяной горки на другую, все дальше уходя от берега, и при каждом вдохе вкусного воздуха успевал приоткрыть глаза и посмотреть вдаль над синей глазурью тихого моря, где одиноко темнел четкий зубец острова.

Нерпа лежит на воде брюхом вверх, спит. Ласты, словно руки, сложила на груди. Тупая усатая морда нерпы отвернута на сторону, и гладь воды лишь чуть-чуть не касается черных ноздрей зверя. Отлогая и плавная волна, не ломая зеркала воды, покачивает спящую нерпу. Ей снится сон, что она нерпа и что спит на спокойной воде, до отвала наевшись рыбы. Так оно и есть, нерпа довольна. Но вдруг подскакивает она во сне и, вертанув хвостатым туловом, ныряет в воду. Сомкнув дырочки ноздрей и вытянув морду, она несется вперед, сама еще не зная куда, — никак не очухается со сна. Но вот она вновь слышит то, что ее разбудило, — недалекий плеск какого-то большого зверя. И нерпе хочется тотчас же взглянуть, что это за зверь. Она сворачивает на шум и весьма осторожно проплывает по освещенной глубине, вращая собачьими глазами. Брачная пара веселых сельдей, плывшая жабры к жабрам куда-то, завидела нерпу и зигзагами прянула в сторону, но нерпа за ними не погналась. Она увидела позади того изумрудно освещенного места, с которого исчезли сельди, дрыгающее тело человека. Но человек, насколько помнила молодая нерпа, всегда торчал стоймя — на берегу ли, на проплывающей мимо посудине. А этот, беззащитный и голый, плыл как-то, болтая руками и ногами. Нерпе стало тревожно от любопытства, и она, замирая от этой тревоги, подплыла ближе и долго снизу вверх косила глаза на пловца. Затем не выдержала, колом пошла вверх и вынырнула. Она решила посмотреть, нет ли чего опасного наверху, — с тем чтобы если все безопасно, то подплыть еще ближе и поддеть рылом под брюхо плывущего человека, попробовать его перевернуть.

Эйти совсем близко увидел высунувшуюся из воды морду нерпы, с усов капала вода. Зверь вылупился и чуть приоткрыл рот, словно хотел что-то сказать. Тревожная его морда была настолько похожа на лицо такелажника Хона, приятеля Эйти, когда тот как следует накачается пивом или вином, что Эйти не выдержал, рассмеялся. Нерпа исчезла. Но Эйти ждал, и она вскоре опять высунулась, уже с другой стороны. «Ходит подо мною, — понял Эйти. — Цапнет еще за ногу. Эх ты, нерпа, нерпа! Всегда хочешь поиграть». Эйти подобрал в воде болтавшийся на шнурке свисток и, зажав губами, тихо выдул из него воду. Затем неожиданно по-милицейски свистнул. И резкий этот свист резанул чуткие уши зверя, нерпа нырнула и метнулась прочь, отплыла сразу шагов на сто. Однако любопытство ее было еще велико, и она вскоре опять выставилась и обернула к Эйти пьяное, оглушенное лицо. И тогда Эйти крикнул:

— Эй, нерпа, как тебя зовут? Хон, что ли? Вот ты даешь, нерпа! Чего испугалась?

Но нерпа на сей раз не нырнула. Голос человека не вызывал больше ужаса в ней, а она жаждала именно ужаса. Тогда Эйти снова засвиристел, и нерпа ужаснулась вполне. В следующий раз она вынырнула уже очень далеко, ее черная голова едва виднелась на воде. Эйти снова стегнул ее милицейской трелью, и она исчезла совсем. «Наверное, за остров уплыла», — усмехнулся Эйти и выплюнул изо рта свистульку. Свисток поболтался на поверхности возле лица, а затем, набрав воды, утонул.

Эйти обернулся в воде и посмотрел назад. Берег, откуда он уплыл, слился в одну длинную синеватую полоску. Едва заметный, витал столб дыма над Камароном. Берег был так далек, что скоро должен исчезнуть с глаз, а остров — Эйти оглянулся на него, чиркнув подбородком по воде, — остров вроде бы совсем не приблизился. Он все так же синел в недоступной дали четким треугольником. Предвестник того, что назавтра будет плохая погода. Шторм, или дождь, или даже град со снегом, как было однажды посреди лета. И Эйти впервые почувствовал тревогу. Может, повернуть назад? Он коснулся плечом края теплой струи и, перевернувшись навзничь, подгреб ногами, тихо вплыл в ласковое тепло, лежа на спине. Он заломил руки под затылок и призадумался. «Не такая уж плохая у меня жена. Красивая и верная. И пацан у меня неплохой, вот он орет, дает жару!» Ноги Эйти постепенно тонули, и он шевелил ими, чтоб всплыли. Вернуться назад?

Подвиг, который он хотел совершить от скуки жизни, предстал теперь перед ним бессмысленным, как любопытство нерпы. Но что-то не пускало его назад к берегу. Слишком много пловцов мечтало, глядя на далекий остров, и все эти тайные мечты, незримо слившись воедино, родили в мире новую силу. И эта сила вынесла Эйти в море. Он был теперь на виду у всех, хотя в море кругом не было живой человеческой души. И правда ли это или гибельный бред, но в невиданном подвиге ищет человек своей конечной завершенности. То, чего ему всегда не хватает, чтобы гордо и безмолвно обойти смерть, чует он в подвиге, а то, что извечно, мирно дает собирательство, — в том вся тревога и покорная тоска человека.

Эйти видел теперь, как красиво голубое бездонное небо над его запрокинутым лицом, но если он

вернется назад к берегу, то как назавтра сможет вынести эту красоту и бездонность? Этот гул и трепет флагов далекого, непостижимого праздника? Три стихии держали его на себе — вода, небо и земля, — а он был меж ними один. «Один!» — хотелось крикнуть ему, но, боясь потерять силы, он не крикнул. И лишь яростно стал бить руками по воде, плывя на спине туда, где должен был находиться остров. Эйти плыл, не глядя в ту сторону, куда взглянуть ему было страшно. И он не хотел возвращаться назад, где жили покорные собиратели трав и где одна любовь, став слишком доступной, надоела ему, как раба, а другая любовь, слишком недоступная, помыкала им, словно рабом. Он гневно махал руками и отгребал ногами, постепенно вновь обретая мужество.

Вдруг услышал он сильный шум вблизи себя. Махнув вознесенной правой рукой налево, он оказался грудью на воде. Мелькнул вдали голубой остров, а вблизи Эйти и вокруг вся вода вскипала от рыбы. Шла горбуша неисчислимым могучим косяком, и Эйти врезался, плывя на спине, в самую середину этого косяка.

Рыбы теснились, терлись друг о дружку, обходя человека, а около него, путаясь, выпрыгивали из воды — и, на миг беспомощно повиснув в воздухе, падали назад спиною в море. Вокруг пловца оставалось круглое оконце воды, а все остальное сплошь было рыбой. Эйти засмеялся, радуясь этому чуду моря, которое он нечаянно подсмотрел. И он крикнул:

— Эге-гей! Ры-ба-а! Эй ты, какая горбуша! Навалом! Эй, и сила ты, горбуша! Куда плывешь?

И он нырял и плыл под водою, широко открыв глаза, и видел, что, когда приближался к живой стене рыбы, она прогибалась перед ним. И рыбы мелькали мимо, мимо — все стремительнее! — и яркий блеск рыбьих боков сливался в сплошную белую молнию.

Эйти всплывал, чтобы глотнуть воздуху, и опять видел, что находится в круглом оконце чистой воды, а вокруг прыгали, словно сойдя с ума, тяжелые серебряные рыбины.

Он снова лежал на спине, раскинув руки и ноги, — отдыхал. Громадный косяк рыбы прошел, водяной кипящий шум постепенно стих вдали, и теперь над морем снова застывала тишина. И вскоре она полностью воцарилась, — тишиною закладывало уши, как водяной пробкой, если не двигаться и не тревожить воду. Эйти смотрел в небо на солнце.

Оно в пустынном небе было одно, и это казалось странным. Если на громадном море виднеется всего лишь одна льдина, а больше ничего на темной воде нет, то это всегда покажется странным. И Эйти представилось, что такой небольшой белый предмет на огромном синем пустыре неба скоро остынет и греть не сможет. Он словно бы и правда не чувствовал сейчас его тепла. Плотная синяя тишина застыла над ним одной сплошной глыбой, она поглотила тепло солнца. И вдруг Эйти почуял что-то недоброе вокруг.

Эйти привстал в воде по грудь, свисток мотнулся и утонул. То, что увидел Эйти в следующий миг, было страшно. Со стороны открытого моря стремительно налетал длинным клином белый туман. В нетронутой тишине острие клина неслось над морем, как бесшумный самолет. Оно прошло вдали перед Эйти, вмиг скрыв горизонт и остров. Следом шла белая стена, нарастая все выше к небу. Словно иная сущность, нежели Земля, напала на Землю и молча ее поглощала. И в немоте последнего мига Эйти видел гибель синего мира. Когда белое налетело и лицо обдало промозглым влажным дыханием, Эйти отвернулся.

Вскоре он ничего уже не видел, кроме белой мглы, — в ней будто птицы огромные неслись или всадники бесшумно мчались. Всего лишь на три взмаха вперед серебряно блестела вода, недавно блиставшая синей глазурью. Эйти не знал теперь, куда плыть. Туман! О нем-то он не подумал, пускаясь в море. Компас ручной надо было взять, — но кто мог подумать, что на синь и гладь такого дня падет туман.

Остров предупреждал!

Голубой четкий силуэт. Знак: будет непогода, не вздумайте плыть ко мне. А он поплыл. Эйти видел, как над маленькими волнами, рожденными его движением, клубятся и плывут туманные лохмотья. Пар не сливался с водою, и туман своим подножием на пядь повисал над морем. Эйти погружался до самых глаз и пытался заглянуть в эту щель между туманом и морем, но далеко он видеть не мог — все сливалось. Где теперь берег, где открытое море, а где этот коварный остров? Эйти плыл уже без всякой цели — слишком маленькой точкой оказалась она в этом огромном просторе.

Теперь бы он повернул к берегу, потому что плыть по морю без цели невозможно, но где этот берег? Ему казалось, что там, впереди, и он плыл, проклиная себя, но потом его охватило сомнение и он думал, что впереди открытое море, путь в никуда.

Просто грести воду руками, когда не видишь, куда плыть, невозможно, потому что десять раз загребешь или десять тысяч раз — никакой разницы. Плыть никуда — значит все время оставаться на месте. И постепенно теплое тело становится холодным, а холодное тяжелым. И хотя вода еще держала, Эйти чувствовал, что с каждой минутой тяжелеет, словно он наглотался камней, как сивуч.

Плечи и руки скоро онемели. И то, чего Эйти раньше не знал, настигло его в море — усталость и страх. Он, смеявшийся над теми, кто тонет в воде, впервые понял, что и он может утонуть. Он ощутил под собою всю темную смертельную бездну, над которой повис, уцепившись за тонкую водяную пленку. Любимая вода, подержав его до последнего мгновенья, тихо затем отпустит, и он медленно пойдет вниз, бессильно раскинувшись. Потом течение его перевернет, широко и непристойно раздвинет ему ноги, а руки длинно повиснут, как плети. Так, крутя его и переворачивая, смертная тяжесть увлечет Эйти

на дно. Волосы его поднимет вода, и в них заплывут сверкающие мальки, как в траву.

Ты, пловец, уходящий в море, помни о предостережении острова, захвати с собой компас. Тогда и в тумане не заблудишься. Ты, отринувший всем существом своим покорное собирательство в жизни и плывущий к синему острову, не будь глупцом. Безумству храбрых уже спели песню, пусть споют о разуме храбрых. Захвати с собой компас. Но прежде чем выйти на подвиг, который даст тебе наконец гордое и великое завершение, подумай о том, пловец, что тебя ожидает. Захвати свисток и английскую булавку. Подумай о бездне, над которой тебе лететь, раскинув крылья, словно чайке. То прозрачное вещество, которое будет держать тебя, не давая упасть вниз, — это соленый раствор. Ты будешь плыть, высунув нос из воды всего лишь на несколько миллиметров. Подумай о бездне заранее, чтобы не испугаться ее в открытом море, — иначе ты пропал.

Эйти тонул, ронял голову в воду, носом вбирал горькую воду, поднимал лицо и отплевывался, вяло загребая руками. Рук и плеч он уже не чувствовал, ноги отнялись. Закатывая под лоб глаза, видел белую мглу. Он ложился на спину, но вскоре вновь оказывался лицом в воде. Донный холод тянул его за ноги, вода больше не держала, и Эйти снял и выкинул свисток, чтобы не висела на нем лишняя тяжесть. И это было последнее решение разума, — а далее деялась та слепая жизнь, которая хорошо видна в трепещущей рыбе, порезанной на куски. Из этой немилосердной жизни, таящей в себе тревогу и тяжкий гнет для носителя ее, рождаются жестокие кошмары. Но откуда, откуда берутся светлые милосердные сказки?

Эйти вдруг заметил, что погружается вниз, глотая холодную воду, но оказалось — нет: он шел вверх, к свету, может быть, в последний раз. Возможно, он и шел вниз, но кто-то перевернул для него мир, как песочные часы, и вновь потекла тонкая струя его времени. И в этом времени — уже за пределами его жизненных возможностей — безраздельно царили летучие видения. Беззвучное вместилище их отягощало плечи, как висевший на плечах пловца огромный мокрый неотторжимый мешок океана, и Эйти с тоской и досадой оглядывался назад. Но обозреть океан в далях его было невозможно, и Эйти видел лишь туман да пятачок льющейся серебром воды и какую-то рыбку размером с полпальца, которая прыгнула три раза на этой воде. Но тут белый туман стал быстро-быстро рассеиваться — и вскоре совсем недалеко выступила из него длинная песчаная коса под голубым пологом неба. И на белом песке были оранжевые люди — бегали друг за другом, играли в мяч. Лежали на разостланных одеялах или сидели, обхватив руками колени. Пили из бутылок, поднимая их над головами. Носили на руках женщин и детей. Девушка с тяжелым бедром и подтянутым, плоским животом вставала, вскинув руку. Усевшись кружком, парни играли в карты, один из них был в соломенной шляпе с огромными полями. А в стороне от всех сидел, обутый в сапоги и одетый, старик До Хок-ро, смотрел на тонущего Эйти.

Камарон! Его отнесло назад, он выплыл! Эйти хотелось крикнуть, позвать на помощь, но он боялся, что с криком истратит последние силы и утонет совсем близко от людей. Он понял: только среди них, с ними быть — и больше ничего, ничего! И отделяла их совсем неширокая полоса воды, но как ее преодолеть? Появилась на гладкой воде маленькая дырочка воронки, которая крутилась и становилась все шире и шире — и стала огромной, будто втягивая в себя все море, и, промелькнув стремительно, Камарон исчез влево. Эйти тонул, руки у него не работали.

И тут метрах в десяти от себя Эйти увидел черный плот на воде. А на плоту сидела белая женщина. Склонив гладко причесанную голову, она смотрела в воду под собою. И Эйти, уже не чувствовавший теплоты своего тела, устремился к ней всей оставшейся теплотою души. Она, даже отлетая, жаждала цели, хотя бы призрачной. Нельзя плыть по морю без цели. Он перевернулся на спину и, запрокинув голову, вновь увидел женщину: она возвышалась над ним, словно поднятая на высокий постамент. Эйти долго смотрел на нее, зная, что это белая фея из сказки Масико, которую она однажды рассказывала, проворно орудуя иголкой, сидя под настольной лампой. Эйти смотрел на женщину в белой одежде, пока не залило ему глаза плеснувшей водой. Он закрыл глаза. И вскоре почувствовал, что тихо стукнулся головой о бревно плота.

Он вскарабкался на плот и лежал лицом вверх, раскинув руки и ноги, которые будто тотчас отвалились от тела и валялись сами по себе. Однако грудь свою, туго распертую ребрами, он ощущал, она дышала. Он беззвучно плакал и говорил про себя: «Эх, фея, белая фея, куда ты делась?» Он не хотел открывать глаза, потому что не верил в свое спасение. Как исчез Камарон, как исчезла белая женщина, подогнавшая к нему плот, могло исчезнуть и все вокруг — и снова он будет глотать соленую воду.

Но вскоре он услышал недалекий гул прибоя — и сразу же весь дрогнул, приоткрыл глаза. Он вскинулся и сел. Плот накренило. Туман поднялся над водою, и вокруг уже было видно. И совсем вблизи из этого тумана выступал склон горы, покрытой зеленью и обложенный угловатыми мокрыми скалами. У подножия горы белела полоса песчаного берега, там ухали и взметывались волны.

— Земля, — сказал Эйти. — Вот она, земля.

Но он не верил, что это земля и что перед ним не предсмертное видение. Близко пролетала чайка, видно без особой мысли в голове, потому что вильнула влево, а затем сразу же направо и тут же грудью бросилась на округлую, вспучившуюся волну. И в гладкой воде возникла еще одна белая чайка, и обе ударились друг о дружку, и верхняя взмыла и полетела к берегу. Все это очень было похоже на жизнь, но Эйти не смел поверить. Он так сильно хотел жить, что поверить всему сразу было невозможно. Тогда он

решил испытать себя и, вынув из пояса булавку, ткнул острием в руку. Побежала, растекаясь по мокрой руке, красная кровь. Эйти лизнул, кровь была соленая, как и морская вода. Но и тут Эйти не поверил. Жизнь, которая могла вернуться к нему со всеми своими облаками, летящими в синем небе, с зелеными травами, на которых можно лежать, — жизнь невозможно было проверить так просто. И тогда он стал мечтать, глядя на берег, к которому волны прибивали плот.

Это был, конечно, тот самый голубой остров, к которому он плыл. Говорили, что на острове живут одни военные, пограничники. И если это так и если Эйти еще житель этого мира, то он выберется на берег и найдет пограничную заставу. Он придет туда, нагой, мокрый, озябший, и военные страшно удивятся. А Эйти, весело смеясь, расскажет им, кто он и откуда. Тогда пограничники еще больше удивятся. После они накинут на него длинную солдатскую шинель, посадят на быстроходный военный катер и отвезут его назад. И по всему побережью разнесется молва, что Эйти, отважный пловец, переплыл море до голубого острова. И будет дальше вершиться удивительная сказка его жизни.

1968–1971

ЗАПАХ НЕУСТРОЕВА

1

Будущее есть у нас, оказывается, иначе как бы я увидел себя в прошлом, когда еще жил в Москве, на Пресне, и фамилия моя была Селютин. Проживал я тогда в квартире, которую раньше до меня занимал Неустроев, мой институтский приятель. Вот и вижу теперь, как этот Селютин, то есть я, спустился в лифте с шестого этажа и направился к выходу, почему-то все время думая о Неустроеве. Вышел через стальную дверь из подъезда — и сразу увидел его. Тот Селютина не видел. Шел, прижимая подбородком кусок желтого батона, обеими же руками копаясь сзади в штанах. Когда сравнялись, Неустроев вздохнул, закашлял и, чтобы не уронить хлеб, прижал его крепче к груди подбородком, при этом широко разинув беззубый рот. Глаза его выпучились от напряжения, через нижнюю губу вылетела нитка слюны и повисла на обломленном батоне.

Оказывается, у Неустроева сзади выбилась рубаха, и он запихивал ее вздрагивающими непослушными пальцами. Уже пройдя мимо Селютина несколько шагов, тот приостановился и тогда уже сумел коекак справиться с делом. Но ремня на штанах не оказалось, пояс был широк, и короткий подол рубахи снова выскочил, как только Неустроев сделал первые шаги. Теперь он держал батон обеими руками. Эти руки, и штаны, и рубаха были так грязны, что оказались все одинакового серого цвета. Но не столько грязь — поразила больше всего помоечная вонь, когда от проходившего рядом человека колыхнулся живой ветерок. Селютин догадался, что бомж добыл обломок батона в мусорном баке, обычно стоявшем за углом дома, на проезжей части улицы. Какими-то неуверенными движениями впивался Неустроев в хлеб, засовывая конец батона в рот, затем вынимал его обратно и облизывал. И все это на ходу. Вдруг споткнулся на дороге, нога от боли как бы сама поджалась и затем ступила пяткою на асфальт. Таким образом и заковылял далее — упираясь в землю пяткою. Тут и заметил Селютин, что бомж был босиком и ноги у него такие же серые от грязи, как и одежда, руки, — оттого и незаметно, что человек идет по городу без обуви. Поранился, видимо, сбил ноготь — на камнях ступеней появилась яркая кровь, когда Неустроев заковылял по крутой лестнице, ведущей по склону горки к верхней улице.

Селютин проводил его взглядом, затем отвернулся и пошел в направлении метро.

Он ни за что не догадался бы, что чумазый бомж — Неустроев, если бы еще зимою тот сам не приходил к нему домой. Первый раз это было ночью, я тогда смотрел в глазок двери. Дверь была стальная. За нею на освещенной лестничной площадке человека три-четыре замерли, одинаковым образом опустив глаза и по-собачьи вывернув головы, прислушиваясь. Среди них, укутанная рваным платком, была одна женщина. Панорамная линза дверного глазка искажала лица, раздувала их в пухлые морды с толстыми носами и губами. Когда я осевшим со страху голосом спросил, чего им надо, Неустроев ответил за всех: «Хозяин, пусти погреться!» Было больше двух часов ночи. Декабрь. Морозы стояли жуткие, по ночам с треском разрывалась древесина деревьев. За спиною в затылок мне дышала жена. «Не пускай, не пускай, не сходи с ума», — шепотом говорила она, заходясь со страху. Как будто я собирался их пустить! Тогда через глазок я узнал Неустроева, его еще можно было узнать в лицо — зимою прошлого года... И как-то он сумел ведь пережить эту зиму.

Еще раз тот приходил, но днем и один. Селютин тогда его впустил, жены не было дома. Вспомнилось, что когда-то давно Неустроев помог ему получить перевод арабской книги. Захотелось узнать, как же тот докатился до такой жизни... По последним сведениям, лет семь-восемь назад Неустроев вроде бы преуспевал, стал даже заведующим отделом в издательстве. Потом, слышно было, жена у него умерла, женился на другой, но как будто с новой женою прожил совсем недолго... Кроме этих сведений, до Селютина уже ничего не доходило.

Теперь Неустроев сидел на кухонном стуле в неимоверно грязной одежде, и Селютин ни о чем не осмеливался у него спрашивать, а тот как будто бы не узнавал нового хозяина квартиры и в скупых выражениях поведал ему, что он, Неустроев, когда-то

владел этой квартирой, а потом потерял ее. Селютин угостил его чаем с баранками. Тот мочил кусочки баранки в чашке, потом пальцами доставал их и, причмокивая, съедал. Перед Селютиным был как будто другой человек. Он рассказал, что вышло у него с сыном. Сначала сын отказался содержать отца, разделил лицевые счета на квартиру. Себе с женою забрал две комнаты, одну оставил за родителем. Потом пришли маклеры, и с ними сын заключил договор: они отселяют его с семьей в отдельную двухкомнатную квартиру, но она будет в районе Строгино или в Чертанове. К тому времени Неустроев уже год был без службы, издательство разорилось и закрылось. До пенсии было еще далеко. Скоро сын съехал, а потом пришли маклеры, принесли Неустроеву его паспорт и заявили, что он теперь должен переехать или к сыну в Строгино, или в город Подольск, на свое новое место жительства. Оказалось, что он, Неустроев, передал им свою комнату в обмен на комнату в Подольске и за это получил денежную компенсацию. Все это было на бумагах. И даже был в паспорте штамп с новой пропиской. И на бумагах всюду стояла его подпись. Но он не помнил, когда подписывал эти бумаги, когда отдавал паспорт... В комнате были вещи, оставшиеся после совместной жизни с покойной женою, и он хотел перевезти их к сыну, однако тот и на порог не пустил отца. Неустроев удалился, было теплое лето, и он некоторое время спокойно прожил в овощных рядах Строгина. И както напрочь забыл новый адрес сына, а также потерял паспорт — возможно, его вытащили, когда он валялся пьяным среди ящиков из-под фруктов. Неустроев тогда впервые пробовал жить без дома, без паспорта, без кровати — спать на земле, подстелив раздавленные картонные коробки из-под продуктов. Получилось. Только по ночам бывало холодно.

Заработать на водку, которой в Москве стало море, можно было, перебирая фрукты и овощи. Этим же можно было закусывать и питаться. Виноград или груши попадались иногда великолепные, прямо из Франции.

Домой на Пресню попал он только к осени. Вспомнил — и решил взять из имущества хотя бы теплую одежду. Когда он вошел, в квартире стояло облако пыли, словно густой туман, и кричали друг другу ремонтные рабочие. Ломали перегородки, сдирали со стен старую штукатурку и дранки. И уже сшибли потолки, подняли доски пола, чтобы перестлать их по-новому. Пройти было некуда, да никто из работяг и не знал, где какое барахло тут оставлено.

Неустроеву показали его комнату, от которой, собственно, осталось всего две стены — две другие были снесены, чтобы образовалась большая комната, объединенная с прежней прихожей. Посреди нового пространства возвышался дымящийся пылью курган строительного мусора. То был мусор полной перестройки квартиры, которую купили Селютин с женой.

Он знал, чья это была квартира, когда в объявлении прочитал, что она продается. Но не знал, что жилплощадь уже не принадлежит Неустроеву. Селютин когда-то учился вместе с ним в Институте иностранных языков на арабском отделении, и в один год они закончили институт. Прошло много лет, Неустроев ушел на дно, а Селютин женился заново, в третий раз, съездил с молодой женой за границу, сделал деньги и вернулся назад. Купил на Пресне бывшую квартиру Неустроева, в которой прежде несколько раз бывал и куда в былые времена довольно часто названивал.

И вот Неустроев сидел напротив, лысый, с бородою сосульками, запущенный, неузнаваемый, дурно пахнущий. Он спрашивал про какие-то свои вещи. Селютин ничего не мог сказать о них. Ремонт квартиры происходил без него, когда они с женою были в Алжире. А при вселении ни жена Селютина, ни он сам не обратили внимания, какие там были вещи. Что-то было, правда, — в квартире тогда временно проживали некие люди маклеров, после оформления купли-продажи они сразу исчезли. Вместе с ними исчезло все, что находилось раньше в трех отремонтированных комнатах, и остались одни глянцевые стены под дорогими обоями... Неустроев повздыхал, услышав неутешительное сообщение. Затем вдруг спросил, варит ли Селютин для себя гречневую кашу. Когда тот сказал, что никогда не варил каш, Неустроев улыбнулся и, глядя на свои рваные колени, где через прорехи виднелось голое тело, стал подробно объяснять, как надо варить жиденькую гречневую кашу с мелко накрошенным луком.

Денег он не просил. Я же не предлагал. Я беспокоился, как бы до возвращения жены успеть выпроводить Неустроева. Тот настолько изменился, что я никак не мог представить своего прежнего сокурсника в этом отупевшем лысом бродяге, который толкует о гречневой каше с лучком. За те годы, что мы не виделись, Неустроев постарел лет на тридцать. И никак не мог понять новый хозяин, узнает ли бывший сокурсник того, кто купил его квартиру. Казалось, что не узнает, окончательно повредился в уме. Селютина он ни разу никак не назвал, каких-нибудь чувств, подтверждающих прежнее знакомство и некоторое приятельство, не проявил. Почти не глядел на него, да и ни на что вокруг не глядел, сидя с тупым, отсутствующим выражением на лице. Только раз улыбнулся, молвив про гречневую кашу. О себе и о сыне, о потере жилья рассказывал равнодушно, словно речь шла о другом человеке.

Такова была наша встреча прошлой зимою, и до самой весны Селютин больше не видел этого бомжа. Тот не беспокоил его новыми визитами. Дела у Селютина пошли очень хорошо, израильские мясные продукты внедрились в Москву, арабская кожаная одежда пользовалась спросом. Немцы из Бохума взяли медь от старого военного кабеля и готовы были в дальнейшем брать ее в неограниченном количестве. Он купил «мерседес» в хорошем состоянии, самого рабочего пятилетнего возраста, и поставил на машину дорогую сигнализацию. Будучи осторож-

ным, Селютин не создал никакого торгового дома, не открыл офиса и свою деятельность свел к чистому посредничеству, зарабатывая лишь на комиссионных. Но партии товара были весьма большими, партнеры надежными, и Селютин быстро разбогател. У него настала проблема, как переправить медные и мясные доллары на свой заграничный счет. Он не хотел в этой стране вкладывать деньги в недвижимость или держать их на рублевых или валютных счетах в русских банках. И сегодня он как раз шел на важную встречу, для пущей конспирации назначенную на станции метро «Водный стадион». Человек из Германии должен был привезти сообщение о том, кому, когда и как передать деньги, чтобы они благополучно осели на счете одного немецкого банка.

И в такой важный день встретился мне этот бродяга Неустроев, прошел мимо, едва не задев локтем. Но, кажется, он и на этот раз не узнал меня — или попросту не обратил внимания, как и не обращал ни на что. Селютина эта встреча не испугала, он не был суеверен и не был мнительно задет за живое неважным видом своего бывшего однокурсника. Что ж, одни тонут, другие всплывают на самый верх. Такое в России наступило время, кончился социализм.

Нет, не был Селютин задет, не дрогнуло суеверно сердце. Просто выступил очень рельефно тот факт, что Неустроев жив, никуда не делся за минувшую зиму, когда производили широкомасштабную зачистку столицы от бомжей и бродяг, — теперь знакомый бомж по-прежнему обитает в районе своего прежнего проживания. Поэтому, надо полагать, возможны его новые визиты. Хотя и, спрашивается, кто велит пускать бродягу в дом? Тем более что в подъезде поставлена новая стальная дверь с домофоном и цифровым кодом.

2

Прошел мимо Селютина, как бы не узнав его, даже как будто и не взглянул в его сторону. Но и узнал, и мельком исподтишка разглядел гладко выбритую щеку, белый провислый второй подбородок, также тщательно выбритый. И, поднявшись по разбитой бетонной лестнице, стоя за кустами, смотрел на Селютина, пока тот не скрылся за углом дома. Узнал его и зимой, зайдя в квартиру, хотя и тогда не подал виду. Узнал, конечно, удивился, но скоро и думать забыл о нем, потому что зима подступила очень холодная. Никогда я не знал раньше, что холод бывает таким лютым. Надо было где-то устраиваться, чтобы тепло было и можно было полежать. Такое место Неустроев нашел в своем прежнем доме — в машинном отделении лифта, под самым чердаком. Возле громоздкого корпуса мотора, который щелкал тормозами, гудел и вращал шестеренками, на полу было свободное пространство. Дверца моторного каземата была металлическая, как и пол, и стенки, но на металл можно было бросить картонные листы от разодранной коробки из-под печенья, которая раньше валялась у метро рядом с торговыми будками. Если не ломался лифт, то никого в лифтовой не бывало, в случае же поломки заявлялись слесаря в спецовках.

Поначалу они не гоняли его, не шумели, когда заставали в моторной, а молча давали ему возможность встать и уйти. Даже не заставляли убирать за собой картонный мусор и пустые бутылки, что натаскивал я с улицы. Слесаря особенно не заговаривали со мной. Что-то в их глазах мелькало одинаковое. Они смотрели на меня с пролетарским страхом. Я сам знавал в жизни этот страх — он стал особенно силен во мне в последние годы моей жизни. Это ужас малоимущего при виде человека, который ничего не имеет и никогда ничего больше не будет иметь. Какой-то из них, пожилой с седыми висками, вдруг узнал во мне прежнего жильца дома и стал ругательски ругать за то, что я пропил свою квартиру. Столь искренне возмущался работяга, что позволил я каким-то аферистам отнять жилье, — настолько яростно, будто хотел своей руганью бить меня по лицу, как молотят при драке кулаками. Слесарь набросился на Неустроева, словно тот был в чем-то виноват перед ним. И Неустроев от неожиданности даже как бы очнулся на минуту и внимательно осмотрел пожилого морщинистого слесаря: худые втянутые щеки, замасленная спецовка, руки с кривыми пальцами, как у обезьяны... И Неустроев улыбнулся.

На что слесарь еще пуще озлился: чего, мол, лыбишься тут. Тогда Неустроев молвил хриплым миролюбивым голосом: «Не учи меня жить, дядя. Лучше помоги материально». Но шутку не приняли. Второй работяга, помоложе, в круглом берете, курносый, заговорил с ним: «Вали отсюда, пес. Поднассал тут везде по углам. Еще попадешь рукой в редуктор, потом отвечай за тебя», — видимо, он у них был за старшого... Пришлось уйти из лифтерской, потом на улице долго стоять в кустах и ждать, когда рабочие закончат и уйдут.

После этого случая все наладилось, лифт долго не ломался, стояла сырая теплая осень, слесаря не приходили. Однако вскоре повесили на двери лифтовой камеры большой висячий замок. Пришлось ему перебираться в самый низ дома, в подвал бойлерной.

Наверху, в лифтовой машинной будке, было холодновато, электродвигатель гудел, тормоза тяжко лязгали возле самой головы. Но там было сухо, не хлюпала жидкая грязь на полу. В бойлерной же эта грязь образовывалась сама собою — от горячих труб всегда шел пар, по кирпичным стенам и с котлов натекало. Кочегары, правда, наведывались туда нечасто и только днем. Ночевки бывали спокойными. Очень долгими. Света не было, все лампочки перегорели, в кромешной тьме лежать и спать было бесконечно долго и тяжко. Забывалось, что ты еще живешь и порой с удивлением вслушиваешься в стоны и всхлипывания, которые вдруг раздаются где-то совсем рядом. Это означало, ты еще находишься в жиз-

ни и около тебя ночует какое-то другое, схожее с тобою, существо.

Однажды кто-то из гражданских жителей встал на пороге бойлерной и посветил вниз электрическим фонариком. В его луче поднялась с полу и утвердилась на раздвинутых ногах серая одноцветная фигура, заморгала светящимися на черном лице глазами — и в этой призрачной фигуре Неустроев узнал бомжиху, которая приплелась однажды вслед за ним от самого здания метростанции. Луч фонаря сдвинулся в сторону — и я увидел и узнал самого себя, вскочившего с полу бойлерной. Лежать там можно было только на самой середине узкого прохода, между трубами, и то если лечь боком. Когда на одном боку становилось невмоготу, надо было подыматься и переворачиваться. К постоянному шипению пара и влажному, как в бане, воздуху можно было привыкнуть в потемках. И мокрая грязь, которая скользила под руками, когда упираешься в пол, также была терпима в полной темноте.

Плохо бывало, когда надо было выходить из подвала на улицу. Набухшие от влажного пара, какие-то одежды на нем сразу начинали дубеть и покрываться ледяной коркой, какие-то ботинки без шнурков, оказавшиеся к зиме у него на ногах, дырявые в неизвестных местах, сначала на морозе испускали пар, затем покрывались белыми разводами льда и соли. Приходилось шибко бежать в сторону метро, к подземному переходу. Зимою в основном кормежка была там, возле метро, хотя в иные дни, не особенно холодные, можно было с утра что-то собрать в мусорном баке около самого дома. Зимою о выпивке и курении Неустроеву пришлось окончательно забыть. На холоде постоянно хотелось только есть. Но и в темной бойлерной, в подвале, во влажном пару, хотелось только есть. Зимою ни о чем, кроме еды, не думалось, которой в Москве стало много, очень много, небывалым образом вдруг завалило прилавки огромного количества магазинов самой лучшей в мире едой. Все уличные лотки, столики ларьков у метро и в подземном переходе оказались заваленными едой. Она дымилась паром над металлическими судками, в которых что-то варилось и жарилось, продавцы ворошили там длинными ложками и затем раскладывали по бумажным тарелкам и продавали облитую томатным соусом еду. Использованная посуда и объедки сваливались в пластиковые мусорные контейнеры. Но только к концу рабочего дня продавцы разрешали кому-нибудь из таких, как Неустроев, снести мусор к большим уличным бакам. Там можно было спокойно покопаться и набрать обычных объедков, но можно было найти и что-нибудь совершенно необычное. Как-то Неустроев увидел в стаканчике из-под пепси-колы маленькую черепашку, которая шевельнула хвостом и задвигала ногами, царапаясь по вощеной бумаге. Он черепаху бросил в мусорный бак.

В другие дни не выходило кормление близ ларьков и лотков — гамбургеры и хотдоги отчего-то исчезали с площади при метростанции. Даже продавщиц горячими пирожками и чебуреками словно ветром сдували. В подземном переходе появлялись новые стеклянные будки с цветами. В других стеклянных ларьках выставляли напитки в ярких коробочках и баночках, всякие блестящие импортные вещицы, кошельки, зонты и батарейки, кожаную одежду. На витрины ставились бутылки, бутылки, бутылки — вино, водка, коньяк, виски, мартини, виски, водка, шампанское, вино, водка, вермут, шампанское, джин, вермут, водка, коньяк, виски, виски, водка, шампанское, вино, водка, водка, джин, вино, водка... Неустроеву из-за подобной резкой перемены рынка одно время пришлось снова стать в ряды нищих с протянутой рукой. Хотя он давно уже прошел эту ступень и существовал на более низком, спокойном уровне. На таком, где можно без денег. Забыть о них, никогда не заходить в магазины. Нищему же с протянутой рукою что-нибудь да подавали, и деньги приходилось потом реализовывать. На это у Неустроева сил уже не оставалось. Он теперь хотел подойти к еде самым простым, прямым путем. Он смотрел на людей, которые проходили мимо или останавливались поблизости, попадая в поле зрения, как на существа совсем иного ряда бытия. И нищие с протянутой рукою, и более обеспеченные нищие — с аккордеоном ли, со скрипкой или с каким-нибудь другим музыкальным инструментом, — и очень богатые нищие с разными уродствами, с какой-нибудь инвалидностью или владеющие маленькими детьми, на шею которых вешается картонка с надписью: «Хочу есть», — эти нищие были связаны с деньгами и хотели денег, как и все остальные люди, мелькающие в глазах Неустроева. И все они не были спокойны — так, как был теперь спокоен он.

И когда его, в силу конкуренции, прогоняли другие попрошайки из подземного перехода или они же, действуя через свою контролершу метро, не пускали туда, Неустроев ничуть не огорчался. Ибо денег он просить не хотел, а в метро ему было худо, несмотря на то что там можно было отогреться. В тепле метрополитена одежда его оттаивала и распространяла вокруг себя такое сильное зловоние, что на него сразу же начинали коситься, женщины зажимали носы. И очередной дежурный по станции или патрулирующий милиционер выводил его наверх, на свежий воздух.

Больше всего он хотел бы, чтобы попалась недолгая легкая работа за еду. Но зимой с этим стало трудновато. Овощные и фруктовые ряды исчезли. Арбузные горки тоже. Уличных торговцев едою становилось совсем мало. Дешевых столовых и кафе вовсе не стало. Их истребило новое время, и на месте старых советских едален всюду появились богатые рестораны, куда и сунуться было невозможно.

При дверях маячили такие здоровенные молодые вышибалы, что даже приблизиться к ним было страшно. Возле ресторанных подворотен трудились кухонные мужики, которые приезжали на работу в

собственных автомобилях. У таких дуриком выпросить что-нибудь или подработать никак не удавалось: с гнилой капустой и морковью или с мороженой навагой в ледяных блоках эти рабочие дела не имели.

Из каких-то красивых пикапов-иномарок доставали они аккуратные упаковки и картонные короба с яркими наклейками. Клали все это добро на удобные ручные тележки и увозили на кухню с бодрым видом, как будто свою собственность.

И приходилось больше по помойкам. Но надо было появиться пораньше, оранжевый мусоровоз приезжал еще затемно. После него ничего не оставалось. До вечера бак мог простоять пустым, пища туда не попадала. Мало было ее по сравнению с летом и с осенью. Хотя, конечно, теперь она не пахла гнилью. Но он давно привык к вони, и зимняя пища для него не казалась лучше. К тому же она была холодной, лед хрустел в ней, у него вылетели и поломались все зубы. Зимнюю пищу можно было замачивать в теплой воде. Однажды кочегар показал Неустроеву, где находится кран. Вода оттуда хлестала слишком горячая, чтобы мыть руки. Но он давно не мыл рук, ничего не мыл, не стирал. Он научился мочиться в штаны, потихоньку расхаживая по улице или сидя на ступеньке подземного перехода, не сходя с места. Но там одна старуха, мордастая нищенка с красными отмороженными культями вместо пальцев, подняла крик и побила его. Желтая лужица натекла с верхней ступени прямо ей под ноги, и старуха больше не пустила сесть Неустроева рядом. Произошло это давно, должно быть, в начале зимы. Тогда он еще был в силах зарабатывать нищенством с протянутой рукою. Потом ослабел, видимо, или заболел — и все активные нищие вслед за той мордастой старухой стали его отгонять, не давая места рядом с собою. Пришлось ему окончательно переходить на одно лишь добывание пищи.

Однажды он шел где-то неподалеку от дома, падал снег — вдруг почувствовал себя старым зверем, который подыхает. Пошатывает его само собою, водит из стороны в сторону. Глаз поднять от земли невозможно. В этом и было все дело.

Когда все ниже и ниже клонишься, а подняться обратно нет сил. Старый зверь где-то в чем-то промахнулся, с того и началось, — а в чем был промах, того уже старому зверю не вспомнить. Слишком много промахов было. И как-то вдруг очень ясно, отдельно от всего этого, возникла какая-то человеческая мысль из моего далекого прошлого. Мысль была хороша, чиста, кристально прозрачна, имела живой характер и как-то очень, очень убеждала, обнадеживала в том, что ничего никогда нельзя подвести к концу, что никакого конца, собственно, ни в чем не бывает... Я чуть не вспомнил, в связи с чем в моем прошлом возникла эта мысль. Тогда жива была одна женщина, еще молодая, — непосредственно ее касалась эта мысль. Ее — и той ночной темноты, в которой прятались жужжащие осы, укусов которых надо было опасаться. Но и это оказывалось каким-то невероятным образом вовсе не страшно, а, наоборот, чрезвычайно хорошо и весело... Так и не осознав до конца, что же за мысль была из прошлого, Неустроев через минуту позабыл об этом и, остановившись, прислонился к твердой и холодной стене.

Из пролома бетонной ограды высунулась голова без шапки, с длинными растрепанными волосами, затем и весь человек вылез, такой же одичавший, как и Неустроев, столь же запущенный. Он поспешно проскочил через дыру, но не убежал — обернулся и, топчась на месте, зябко поводя согнутыми в локтях руками, стал посмеиваться, словно дурачок. Вслед за ним пролез в бетонную дыру еще один оборванец, и еще один, смуглый и черноволосый, похожий на китайца, и еще одна бомжиха, отощавшая как узник Освенцима. Все они выскакивали из пролома бетонной ограды и одинаковым образом оборачивались, никуда не убегая, и посмеивались, глядя друг на друга. Это были мутанты нового времени, оказавшиеся неспособными заниматься бизнесом. Был уже ранний зимний вечер — все эти бездомные оборванцы оказались пьяны к вечеру. А днем их зазвали в мастерскую к одному богатому скульптору-миллиардеру, там их раздели донага, всех вместе, поставили на длинный помост из свежих досок и заставили позировать. Скульптор и на самом деле лепил для города группу фигур, узников Освенцима, — но его задачей было вылепить не самих узников, а их посмертные призраки.

Обо всем этом Неустроев узнал и все сам увидел на следующий же день, когда вместе с остальными бомжами пошел позировать призраком к знаменитому скульптору. Его мастерская была огромной, как ангар, но удивительно теплой, даже жаркой, там хорошо топили, и голые натурщики не мерзли, усевшись на помосте, как большая стая обезьян. Им запрещено было шуметь и разговаривать, чтобы не мешать работе, и только изредка по команде молодого усатого кавказца, секретаря скульптора, поднимали то одного, то другого натурщика и отдельно ставили в конце помоста, заставляя принимать какую-нибудь неудобную позу: запрокинув назад голову, заломив над нею руки. Приносили обед в солдатском бачке, кормили раз в день, зато к вечеру выдавали по бутылке красного вина на двоих. Выдворяя из мастерской, секретарь договаривался с каждым по отдельности насчет завтрашнего позирования.

С этой ватагой бомжей-натурщиков я и пережил суровую зиму. Не был отловлен и отправлен в какие-то отдаленные места, куда по решению столичной мэрии чудесным образом были выдворены тысячи бездомных бродяг. Дом, в котором я жил раньше, куда приводил, чтобы ночевать в бойлерной, некоторых своих артельщиков, находился недалеко от мастерской прославленного скульптора. В Москве он делал что хотел и портил своими монументами столицу, как портят девок. Но благодаря именно этому скульптору я прожил на свете несколько дольше,

чем было мне положено. Это стало понятным уже тогда, и поэтому, погруженный в темноту своей ночевки, под шипение бойлерного пара, лежа между двумя широкими трубами, я не думал о том, что загрызу миллиардера-скульптора, когда вскоре умру и превращусь в такого же чудовищного вурдалака, какого ваял тот, с добродушным азартом поглядывая на того или иного голого натурщика. Думал же Неустроев о том, что после превращения в страшного оборотня он непременно загрызет Селютина, этого белолицего толстенького Селютина, который с таким наглым комфортом расположился там, на самом верхнем этаже сталинского дома.

3

Жена Селютина настаивала, чтобы под ее патронажем была создана фирма «Гименей» по торговле немецкой мебелью. Он не захотел участвовать и денег на это не дал, тогда жена вложила свои и вошла в совместное предпринимательство со знакомыми Селютину немцами из Бохума. Магазин находился в отдаленном районе, в Черкизове, однако ровно через два месяца после создания фирмы Селютину позвонили пресненские бандиты. Именно ему позвонили, не жене. Она сразу же предположила, что вычислили, видимо, по машине: говорила, мол, чтобы он не брал «мерседес», а надо было «оппель-кадетт» или хотя бы старенькую «вольву». Что бы там ни было, но Селютин вынужден был встретиться с теми, кто ему звонил, и бандиты назвали такую сумму, что он сразу же занемог и слег. Он заперся в квартире и почти перестал выходить из дому, не разговаривал с женой. Она-то по-прежнему ездила на фирму и на самом деле купила себе «оппель», заимела газовый пистолет — и не пыталась найти для отчаявшегося мужа хоть какое-нибудь утешение. Словно происшедшее и на самом деле никак не касалось ее и угроза нависла не над их общим домом, над семьей, а исключительно над ним одним.

Что и возмущало Селютина больше всего — жена делала вид, будто не она послужила причиной наводки... Но однажды он внезапно подумал... сличил суммы... сделал вывод — и весь похолодел от ужаса. Бандиты требовали именно столько, сколько Селютин договорился в скором времени передать своему надежному немцу... Но тот ничего не мог никому сообщить: не такой был человек и к тому же ни разу еще он не приезжал из Германии — с тех пор, как эмигрировал туда, так и сидел в своем Бохуме. Но кто же тогда мог столь аккуратно и точнехонько информировать этих «пресненских», один вид которых вызвал в Селютине такой шок ненависти и страха, что он серьезно заболел? С температурой и рвотами, словно при сильном пищевом отравлении. К тому же еще и саднило в глотке, там образовалось болезненное кольцо, будто кто-то железными пальцами похватал и помял эту глотку.

Неустроев после того, как в новой бронированной двери на входе поставили домофон с кодовым замком, никак не смог попасть в свой подъезд и оттуда пробраться в лифтовый машинный каземат. Пережив зиму в сыром подвале бойлерной, он захотел пожить там, где посуше, и решил освоить чердак.

Пришлось лазать туда через соседний подъезд, где еще не успели поставить бронированную дверь с кодовым замком. На чердаке он оказался по соседству с голубями. Птицы за десятки лет существования этого дома сталинской постройки загадили все чердачное помещение. Шлаковая засыпка от времени уплотнилась, сцементировалась, высохла и стала как глинобитный пол. Я пробирался к тому краю, где находилась внизу, под потолочным перекрытием, бывшая моя квартира.

По верхам косой крыши торчали, ржавыми концами вниз, длинные гвозди — ими были прибиты к обрешетке тонкие листы жестяной кровли. Продвигаясь по низкому чердаку не на ногах, а на четвереньках — чтобы не напороться головою на невидимое острие гвоздя, — я всюду втыкался руками в скелетики голубей.

Они здесь рождались, здесь и умирали. Скелетов было много, их плоские косточки вросли в шлак чердачной засыпки и выглядели как целиком сохранившиеся останки птиц юрского периода. От них и родился, наверное, тот густой, неподвижный запах мертвизны, что пропитал воздух под нагретой железной кровлей. О, хорошо помню, как я дышал этим безжизненным воздухом склепа, чувствуя, что и сам становлюсь таким же экспонатом древней Юры, как эти белые скелетики! Также помню, как Неустроев лежал спиною на закаменевшем угольном шлаке, затылком на деревянной балке, сплошь заляпанной высохшими брызгами птичьего помета, и пытался вспомнить в конце своей жизни, что он такое и кем был в далекий период своей человеческой жизни, когда некоторые замечательные мысли приходили ему в голову. Как и эта вот мысль, которая сейчас слетела к нему и стала рядом, вблизи его. И опять это очень хорошая мысль, сверкающая радостью и дышащая теплым покоем, — но беда была в том, что голова Неустроева не могла распознать ее, потому что тут же забыла о ней. Может быть, это была мысль о том, что он ведь не зря когда-то учился в институте, занялся почему-то арабистикой...

Как раз в это же самое время — на три метра ниже, под тем самым местом, где находился Неустроев, покоясь головою на твердой деревянной балке, — сидел в кресле и смотрел телевизор господин Селютин. Он вдруг услышал, что на чердаке завозились, и это были не голуби, потому что вместе со звуками передвижения по чердаку оттуда ясно послышался звук хриплого мужского кашля.

Громоздкое тело проволоклось от одного чердачного края до другого. Голуби обычно так тяжеловесно и грубо не возились, и воркование их ничуть не напоминало человеческий кашель. Селютин сразу

же догадался, что на чердак забрался именно Неустроев. После того как весною они встретились на улице, бомж долго не появлялся — теперь, оказывается, он сумел-таки пробраться на чердак.

Поскольку настало лето и был уже второй звонок, по которому бандиты объявили, что включают на него «счетчик», Селютин долгими июньскими днями просиживал дома, только изредка ходил за продуктами в магазин да к метро за газетами. И почти каждый раз видел Неустроева, шатавшегося по скверику в одиночестве или в компании себе подобных... Теперь залез на чердак и возится там, устраиваясь на послеобеденный отдых. Почему он все бродит вокруг да около меня? Может быть, ему кажется, что кто-то виноват во всех его несчастьях, — и винит, может быть, в первую очередь тех, кто купил его квартиру? И тут Селютин болезненно застонал, остро сожалея, что купил-таки эту проклятую квартиру. Не будь этого, не было бы сейчас кошмарных краснопресненских бандитов с пистолетами, поджидающих его где-то за стальной дверью. Да что там стальная дверь — вон по телевизору только что показывали, как бабахнули взрывом точно такую же дверь в квартире одного банкира... А этот несчастный бомж кружится вблизи, словно черт, и чего-то хочет... У Селютина дыхание перехватывало от ненависти ко всем: к шевелившемуся на чердаке существу, к бандитам, ко всем немецким, арабским и израильским партнерам, к жене-сволочи, которая носится на машине по Москве и вовсе не боится пресненских ребят с бычьими затылками — и не случайно, видимо, не боится их... этих вчерашних дикорастущих мальчиков, над которыми в недавнем прошлом добродушно подшучивали: мол, если хорошенько кормить их, акселератов, то ведь в армию не возьмут, не подойдут они по размерам. И вот вымахали как раз под размеры бандитов, с огромными телами, с монолитными плечами, раздобыли себе автоматическое оружие и установили свою власть.

Селютин соскочил с кресла, выключил дистанционкою телевизор и, надев тапочки, вразброс валявшиеся на ковре, быстро проследовал к двери, припал к смотровому глазку. Только что он услышал, как там, на чердаке, с шорохом и скрежетом проволоклись к тому краю, где находился выход с чердака — небольшой лаз с деревянной дверкой. Про этот лаз Селютин раньше как-то и не подумал, а сейчас я хотел посмотреть, убедиться, что чердачным посетителем точно является он — бомж Неустроев... Хорошо различимый в панорамный глазок, по железной лесенке спускался, согнувшись по-обезьяньи, лысый и бородатый мутант с опухшей физиономией, в котором я узнавал своего институтского товарища.

И пока его разглядывали исподтишка, Неустроев проследовал до площадки лифта и вызвал кабину. Да, он мутировал, стал дикарем. Мозги его, все тело, и, очевидно, все внутренние органы, и сама кровь, и ногти на ногах и руках, и не стриженные два года волосы на затылке, борода — все в нем изменилось и стало другим. Возвратное перерождение зависело, оказывается, от того, что ты ешь и каким образом содержишь тело. Если ты жрешь то же самое, что могут жрать крысы, кошки и бездомные собаки, если спишь на земле, не имеешь денег, с помощью которых только и можно достать себе одежду и постель, — то вполне возможно снова стать как эти звери... Вдруг словно очнулся, стоя на безлюдной площадке в ожидании лифта. Оказывается, я стою и размышляю — и никуда не делись, не разлетелись мысли после того, как они пришли ко мне! И не разучился я вызывать лифт, чтобы поехать в нем — вверх или вниз... Вниз, все ниже и ниже, — и незаметно окажешься на таком уровне, откуда назад уже нет ходу. Неустроев стоял перед дверью лифта в смиренной позе, потупившись, стиснув сложенные на груди руки. По-птичьи отводил в сторону голову и сверху рассматривал растоптанные, покрытые грязью и засохшей кровью ноги.

Неторопливо поднимался лифт, гулко постукивая где-то на нижних этажах, и времени его восхождения вполне хватило на то, чтобы Неустроеву полностью понять все, что с ним произошло и что с другими произошло — со всеми, со всеми, кто только появлялся на земле в образе человека и затем бесследно исчезал. Их было очень много.

Лифт пришел, дверцы разъехались в стороны, в кабине никого не было, и Неустроев шагнул туда. Поехал вниз. На каком-то этаже произошла остановка, дверцы раскрылись — перед ним оказалась девочка лет десяти, светленькая, совершенно прелестная, в чистом коротком платьице, в белых гольфиках. Таких ухоженных, благополучных детей, как эта девочка, он давно не видывал вблизи себя — это было существо другого мира, откуда он выпал и для которого он умер не случайно... Девочка смотрела на него с бездонным ужасом — и вдруг звонко, с горловыми переливами, оглушительно завизжала.

Лифт словно испугался этого крика, самопроизвольно закрыл дверцы и ухнул вниз.

Он не помнил, с чего, с каких событий его жизни и с какого времени это началось, но очень хорошо знал, что начиналось все с того едкого душевного состояния, в котором находился он в прошлом и сегодня — в эту самую минуту, которая еще не прошла. Одна арабская пословица гласила, что никто не умирает случайно. Но об этом он знал давно, еще задолго до того, как начал изучать арабский язык. Также он всегда знал, что придет время — и не случайно он будет идти по московской улице босиком, весь в грязи, воняющий голубиным кладбищем. Чердак, с которого он только что спустился, был завален костями голубей, которые тоже умирали не случайно. И я не случайно перешел улицу, впереди были зеленый скверик, замученные деревья, затоптанная трава, круглое сооружение общественного сортира. Невдалеке на маленькой площади расположились торговые палатки с едой, с заморскими цивилизованными напитками, со столиками на открытом воздухе, с

пластиковыми урнами для мусора. Все это было не случайно. Наконец-то и в Москву пришла настоящая цивилизация, она пришла из Америки и с Запада. И день стоял солнечный, душный, и время было пополуденное, если верить круглым уличным часам, неуклюже повисшим на железном столбе. В худосочной тени дерев, между круглым зданием сортира и станцией метро, в этот час виднелось не так много негражданского бездомного народу — всего тричетыре фигуры маячили по разным концам замусоренного скверика. Он примыкал к метростанции и небольшой площади, на которой разворачивались троллейбусы и по краям которой стояли палатки закусочных. Все это пространство, заваленное сплющенными банками из-под пива, разорванными бумажными пакетами, смятыми стаканчиками и другими отходами наступившей цивилизации, было местом обитания новых московских мутантов.

Впереди стояла, наполовину высунувшись поверх куста живой ограды, какая-то негражданская фигура с серым лицом, с лохматыми длинными волосами, повисшими вдоль головы. Кажется, это она, подумал я, — это женщина. Да, женщина — когда вышла из-за кустов, то оказалась в коротком платье, с парою худых длинных ног, не то голых и очень грязных, не то обтянутых приросшими к ним ошметками колготок. Совершенно непонятно, старая или нестарая. Серое чумазое лицо со светящимися глазами, как бы разрисованными розовыми ободками.

Это лицо покрыто бороздами более светлых, чем остальная кожа, грубых стариковских морщин. Женщину эту я знаю, приводил ее зимой ночевать в бойлерную. На ступнях ног еще держатся останки зимних сапожек, у которых съехали поломанные застежки молний, и поэтому голенища распластались по сторонам, свисая до земли, волочась по ней, цепляются за кусты, загребают бумажный сор и жестяночную пивную посуду — что сильно затрудняет передвижение мутантки.

Как только она заковыляла вперед, тотчас встрепенулись на своих местах отдыха и другие московские мутанты. Настороженно глядя на лохматую бомжиху в коротком платье, остальные тоже стали выдвигаться из своих укрытий. Время было далеко за полдень, но Москва дней моей жизни никогда не обедала точно в определенные часы. Видимо, не считала, что жить и работать надо только для того, чтобы вовремя и сытно пообедать. Скорее всего, Москва деловая занималась как угорелая своими хитроумными делами и, проголодавшись, хватала куски на ходу, запивала навязчивой пепси-колой. Но все равно — хотя и не устанавливалось точное время для обеденного кормления — примерно с часу, с двух пополудни начинали подходить к киоскам некие гражданские лица, способные, очевидно, заниматься мелким бизнесом. А негражданские бомжи в это время вылезали из кустов скверика и, опережая бомжиху в неудобной обуви, двигали во все лопатки по направлению к уличным кафе. Там они, кружась возле столиков с обедающими, стерегли минуту, когда можно будет броситься вперед и первыми захватить объедки...

И я так же внимательно и ревниво следил за тем, как начала свое продвижение через скверик лохматая мутантка в коротком платье, — и когда стало очевидным, что она и на самом деле устремилась к столикам, думая опередить других, я тоже вышел из своего укрытия и уныло поплелся вниз, к маленькой площади, месту кормления новых московских мутантов. А позади этой площади, за деревьями ближайшего контрбульвара, виднелась вознесенная в небо узкая коробочка московской мэрии. И, глядя на эту коробочку, я, Неустроев, один из этих мутантов, не способных к выживанию бизнесом, снова вспомнил, что каждый умирает не случайно. Все было предопределено — даже я, даже это длинное стеклянное здание, которое столь уверенно врезается в синеву.

4

В один из дней домашней отсидки, после включения бандитского «счетчика», господин Селютин взял молоток и гвозди, забрался по металлической лесенке к лазу на чердак. Он открыл маленькую деревянную дверку и просунул голову в квадратную дыру. Как будто заглянул в некий параллельный мир, откуда шибануло в нос тяжелым, гнусным смрадом, не имеющим аналога среди запахов привычного мира. Селютин поскорее захлопнул дверцу и затем, неустойчиво балансируя на перекладине лестницы, с трудом, но зато надежно и основательно забил большими гвоздями дверцу лаза. Возможно, после этого решительного действия он и набрался духу, взял деньги и отправился с ними к бандитам. Эти пресненские ребята все были молодыми, здоровыми, как бычки, спокойными и насмешливыми. Сумма, которую принес Селютин, похоже, ничуть не удивила их. К этой сумме они педантично присчитали все проценты за включенный «счетчик» и выбили из Селютина еще и эти деньги — штраф за его нерешительность и проволочку. Но затем один из авторитетов потрепал седого, толстого Селютина за ухо и примирительно заявил, что отпускает его на оброк и дает ему свою «крышу». И если теперь другие наедут на него, Селютин может сказать им, что он уже под наблюдением, — и если захотят, то пусть назначают «стрелку», встречу, где-нибудь на нейтральном месте. Однако Селютин признался, что он принес все деньги, которые имел, и теперь у него ничего нет, кроме машины и квартиры, а фирма «Гименей» полностью принадлежит жене, и оттуда ему лично ничего не перепадает. И он попытался убедить бандитов, что не хочет больше заниматься бизнесом, устал, и теперь намерен устраиваться на государственную службу, зарабатывать пенсию. Но бандиты только посмеялись над ним, и один из них, со скандинавской бородкой и бритыми усами, похлопал Селюти-

на по спине и сказал: «Не думай, папаша, что ты умнее всех. Иди и работай — не на государство, а на нас, понял? Пенсии тебе все равно не видать, потому что мы тебе не дадим дожить до нее. Ты будешь стараться для нас, делать валюту, это ты умеешь. А если не сможешь больше — я сам пристрелю тебя, будь спокоен». И они пояснили, что машину оставляют ему для успешной работы. Насчет жены и ее фирмы они и словом не обмолвились. Пропустили информацию мимо ушей.

А вскоре жена заговорила с ним о разводе. Он давно ждал этого. Она была почти вдвое моложе его, сразу же по возвращении из-за границы мечтала только о том, как бы еще куда-нибудь съездить... Но потом появился «Гименей», и она зажила своей жизнью. Будучи третьим мужем третьей жены, Селютин не надеялся на что-то очень хорошее, но он никогда не думал, что когда-нибудь станет бояться жену. Она не хотела делить жилплощадь и предложила ему такой вариант. Селютин уходит, помня, что он все же мужчина. А она покупает ему приличную однокомнатную квартиру в хорошем районе. На робкий вопрос Селютина, почему же ему однокомнатную, а ей трехкомнатную, жена ответила: она еще молода и ей надо устраивать будущую жизнь, а для него будущего уже нет, чего там закрывать глаза на правду, — так что хватит ему и однокомнатной квартиры...

Селютин словно враз потерял все силы и всю удачу. Начать заново оставленное дело никак не получалось. Немцы из Бохума и израильские торгаши давно уже нашли других посредников. Заработать на алжирцах или марокканцах не получалось — рынки страны были перенасыщены импортной кожей.

Жене он не говорил, каковы его дела с бандитами, — а она ни о чем и не расспрашивала. Обсуждая с ним объявления в газете «Из рук в руки», она просматривала цены квартир и тут же отвергала слишком дорогие — ни разу не сделав предположения о том, что он мог бы и доплатить из своих денег. И у меня уже не оставалось никаких сомнений, что она знает все о судьбе моих прежних комиссионных. И когда она стала склоняться к тому, что центр все же очень дорогой, поэтому мне следует, может быть, подумать о каком-нибудь не очень далеком микрорайоне, я особенно возражать не стал. В душе я Бога молил, чтобы хоть этот вариант благополучно состоялся. Поскорее переехать в микрорайон — о, я посчитал бы это большой удачей! Ведь могло же ей прийти в голову — очень даже запросто могло прийти, — что потратиться на заказное убийство выйдет гораздо меньше, чем заплатить за однокомнатную квартиру даже где-нибудь в чертовом Орехово-Борисове.

Однако на это она не пошла, значит, имелись какие-то более веские причины, чем ее обычная расчетливость. Но что бы там ни было, данным обстоятельством надо было поскорее воспользоваться. Широкий выбор на рынке жилья облегчал задачу, я взял для просмотра несколько квартир и методично начал их объезжать.

Однажды, возвратившись домой и поднявшись на лифте, Селютин ощутил какой-то едва уловимый, вызывающий тревожное возбуждение запах. Однако он не стал задерживаться и вынюхивать, чем пахнет, а сразу же прошел в квартиру, которая стала для него местом печали, а не радости, как было еще совсем недавно, год назад, когда он вернулся из-за границы и вселился сюда с женою.

А теперь надо было убираться — и как можно скорее. Жена торопила с выбором и настаивала, чтобы он перебрался на новое место жительства еще до официального развода, который мог произойти не так быстро, как хотелось ей.

Такая нетерпеливость жены пугала и беспокоила Селютина, он не мог догадаться, что же за всем этим кроется. Она уверяла, что просто не желает больше подчиняться невольному воздержанию, ей нужен мужчина — и он есть, но обыкновенная порядочность не позволяет, мол, ей приводить мужчину в дом, когда там еще находится неразведенный муж... Селютин не решился напомнить ей, что с предыдущим мужем она так и поступила — еще не разведясь с ним, привела нового, то бишь Селютина, к себе на квартиру и жила с ним в большой комнате с выходом на балкон, а прежнего супруга, вторичного, выселила из спальни в маленькую комнату возле кухни. Но этот вторичный был молод, намного моложе Селютина, и в силу молодости еще имел будущее... Разменявшись после развода, жена получила однокомнатную в Ясеневе, а второй муж попал куда-то в коммуналку. Год назад, вернувшись из Алжира, она продала ясеневскую квартиру — а теперь уверенно урывала трехкомнатную почти в центре Москвы... Примерно такое будущее для нее и предполагал Селютин, год за годом проживая рядом с молодой женою в жарких арабских странах... Но он и подумать не мог, что будет когда-нибудь так сильно — до леденящего сердце ужаса — бояться ее.

Для ускорения процесса он решил привлечь специалистов, тех же маклеров, которые продали ему бывшую квартиру Неустроева. Они быстро и хорошо проводили бумаги, у них были свои прикормленные нотариусы, и комиссионные они брали весьма умеренные. Бандитов они вроде бы не боялись, может быть, имели надежную «крышу». Главным был широкоплечий гладкий мужик казацкого вида, красноносый, с вислыми усами. Помощниками у него были молодые люди настоящих бандитских размеров, с широкими, как пни, неподвижными загривками.

Когда Селютин обратился к ним за помощью, маклеры быстро откликнулись и приехали на переговоры. Поднявшись пешком на шестой этаж — в тот день лифт не работал, — главный молвил, отдуваясь сквозь пшеничные усы: «А у вас тут, однако, трупиком пахнет». И он выразительно повел своим могучим красным носом, подергал усами. «Да что вы, не может быть! — воскликнул Селютин, чувствуя, как пол уходит из-под его ног и он зыбко повисает над бездной. — Впрочем, может быть, кошка

какая-нибудь залезла на чердак и сдохла», — быстро приходя в себя, предположил он. «Нет, милейший, это не кошка, а очень серьезный труп, килограммов на семьдесят, — с улыбкой молвил маклер и почему-то подмигнул Селютину. — Уж этих трупиков пришлось мне понюхать в Афгане — ой-ей!»

Когда маклеры ушли, Селютин через некоторое время вышел на лестничную площадку и, стоя напротив лифтовой шахты, стал принюхиваться, поднимая нос кверху, туда, где была заколоченная дверца чердачного хода. Затем я ушел обратно в квартиру и запер за собою обе двери: стальную наружную и деревянную внутреннюю. Теперь-то я осознавал до конца причину столь неодолимой, глухой, великой тревоги последних дней. Разве я сам выбирал время, в котором мне жить? У меня нет, оказывается, будущего, а есть одна эта тревога. Она была не только из-за того, что у меня отняли все деньги те господа, которые умеют это делать. Они отнимут квартиру и, может быть, скоро отнимут машину... Тревога была и не в том, что уже ничего не получается как прежде и что не заработать мне больше комиссионных. Может быть, задвинув меня куда-нибудь в район Выхино, этот страшный, вдруг совершенно изменившийся мир навсегда лишит меня радости еще раз заработать зеленые американские доллары... О, эта великая, бездонная тревога не имела за собой единственной и конкретной причины, зато она имела конкретный запах. И в голове Селютина родилось понятие, что этот сладковатый, возбуждающий запах и есть запах Неустроева, которого он, Селютин, совершенно непреднамеренно заколотил гвоздями на чердаке. И хотя ему ничего судебного не грозит, наверное, за одного одичавшего бомжа, который лазает по чердакам, — но может ведь так получиться, что следствие все-таки начнется и это как-нибудь помешает квартирному делу и задержит его. А там, глядишь, оно и вовсе не состоится... Перед Неустроевым я не виноват! Я ведь не знал, что он на чердаке и что у него тоже нет будущего. На чердаке было тихо. Я заглядывал туда. Неустроева там не было! И ничего я ему не должен. Квартиру свою он продал маклерам, а я купил ее уже у них, покупать и продавать жилье никому не возбраняется. И никогда мы с ним не были друзьями. Правда, сто лет назад, в молодости, Неустроев помог мне получить в издательстве один арабский перевод. Тогда Неустроев был старшим редактором в издательстве. Однако с этим переводом я только замучился, ничего у меня не вышло. Вот за это — что не вышло, что подвел рекомендателя — я и виноват перед ним. А не за то, что заколотил его большими гвоздями на чердаке дома... Никто не видел, как я заколачивал. Никому не придет в голову... Никто не поверит, не подумает, не поймет. И не пойду я никуда. К черту! Не хочу я. О, боже!

Но если бы знал Селютин, что он и на самом деле ничуть не виноват! Ведь я, Неустроев, на чердак забирался с другого подъезда! А узеньким лазом, прорезанным возле камеры машинного отделения лифта, я пользовался лишь в том случае, когда надо было спуститься с чердака. Так было удобнее и ближе. Ведь Неустроев, забираясь на чердак, долго полз по нему, пробираясь к тому месту, где под потолочинами, засыпанными угольным шлаком, находилась его прежняя квартира. И однажды, лежа затылком на деревянной балке, этот Неустроев вдруг умер, так до конца и не осознав, что с ним происходит и для чего это было нужно — жить и умереть не случайно.

РЫБА SIMPLICITAS

1

Я вижу ее в норе, которая находится в атолловом рифе, коралловый же атолл находится в Тихом океане, а подводная световая зыбь океана качается где-то во мне, наверное, в моей голове, и я предстаю рыбе в своем ясновидении и слышу ее беззвучную речь на русском языке.

Она родилась и выросла в коралловой норе, никогда из нее не вылезала. Для нее стало давно привычным, когда за продолговатой щелью входа, снаружи, мимо проплывают тени огромных рыб, неведомых, как таинственные миры. Иногда в нору просовывалось щупальце спрута, который, видимо, методично обшаривал атолловую банку, и рыба Simplicitas кусала этот усеянный присосками слепой отросток чудовища, и спрут быстренько убирался.

Острыми треугольными зубами рыба ломала коралловую стенку, обломки относила к выходу и ловко укладывала в край пещерки. Таким-то образом за много лет она существенно и надежно укрепила оборону своего жилища, поднимая порог входа все выше и выше.

Как ей помнилось, очень давно она вдруг оказалась в норе одна, совсем маленькой. Для нее тогда это была громадная пещера, потому что сама-то она была крошечным мальком, и небольшие полосатые рыбки, проплывавшие снаружи, казались ей огромными чудовищами. В первое время рыба тщательно запрятывалась, хоронясь в коралловые складки, а на ночь укладывалась в какую-нибудь замысловатую узкую щель. Однако по мере роста тела прятаться стало все труднее, и тогда, заснув нечаянно, рыба могла внезапно проснуться и обнаружить, что ее голова почти наполовину высунулась из норы. Она спохватывалась и отплывала задним ходом в пещеру — с того времени и начала она строить стенку на входе. Работа продолжалась многие годы, одновременно рыба и сама росла, — и вот наконец, когда ее голова стала шире пещерного лаза, пришла полная безопасность.

Отныне она могла, набросив широко разинутый рот на входное отверстие, кормиться сколько угодно, сама же оставаясь в надежном укрытии. Питалась рыба Simplicitas всем, что умирало наверху, в не-

известном ей верхнем слое океанической воды, и медленно оседало в виде органического мусора: кусочки растерзанных рыб, миазмы от разложения трупов, ошметки ракообразных, ослизлые останки планктона. Крутой склон атоллового рифа, уходящий вниз, в черную бездну, был испещрен витыми воронками, разверстыми каменными карманами, в одной из таких скважин и был расположен отшельнический скит рыбы Simplicitas.

Из пещеры ей был виден лишь кусок сизой коралловой глыбы с единственной дырою в ней — очевидно, отверстием норы другого отшельника. Но наблюдать за этой соседней норой было возможно лишь вползрения, одним глазом, приставив его к самому верхнему краю входного отверстия. Находиться долго в таком положении рыбе было трудно, к тому же надо было кормиться, на что уходило все время бодрствования, потому-то на протяжении многих лет ей так и не пришлось увидеть соседа. Лишь порою замечала она грязевые фонтанчики, которые с силою вылетали из скважины его пещеры, — таким образом сосед справлял нужду, не выходя из своего жилища. Впрочем, точно так же обходилась и сама рыба Simplicitas.

Но вот однажды, в пору, когда выбраться наружу уже стало невозможным ввиду размеров ее головы, превосходящих ширину лаза пещеры, рыба увидела круглый выпуклый глаз и кусочек жаберного щитка, выставленные во входном отверстии соседней норы. Глаз смотрел на Simplicitas с огромным интересом.

Это был первый и единственный живой взгляд постороннего существа, брошенный на нашу рыбу. И она через этот взгляд была мгновенно подключена ко всеобщей системе ясновидения, которая существует на земле со дня творения. Тогда же и я стал видеть ее, эту странную рыбу, которая всю жизнь проводила в своей норе, никогда из нее не вылезая, — а уж через абсолютно чистое зрение рыбы Simplicitas мне стал доступным и мой собственный феномен свободного и необузданного ясновидения.

2

Сидеть в каменной яме, глотать органический мусор, что падает сверху, никуда из пещеры не выбираться и никого не видеть — только раз в жизни чей-то круглый глаз да часть жаберной щели — это ли не самое ужасное времяпрепровождение на свете? Так думалось мне — не Simplicitas, которая о себе никогда не размышляла. Застыв с широко разинутым ртом, куда должна была медленно оседать океаническая муть, рыба могла бесстрастно созерцать самые дальние уголки и самые древние наслоения земного психического мира.

Это примитивное животное подводного царства, не хищница и не травоядное, однажды разбирало скрытые мотивы некоего печального для меня обстоятельства. Не понимаю, как это получилось, — но изо всех видений, во что превращаются быстротекущие дни нашей жизни, именно мои сахалинские страсти прошли через поток внимания Simplicitas, впрочем никак не отразившись на ее поведении. Даже хвостом не дрогнула и не взмахнула расписными, словно японские веера, широкими плавниками.

Но почему именно эта история пробежала через ее равнодушное провидческое сознание, словно импульс электрического тока? Зачем она здесь принялась все расставлять по местам, выискивая причины моего позора? Почему бы ей было не увидеть что-либо другое, вовсе не связанное со мной? Но как бессмысленны мои вопросы, до чего бесплодны эти попытки как-нибудь оправдать или немного утешить себя! Рыба же созерцала, как бы находясь в состоянии глубокого оцепенения, — ей хотелось поскорее добраться до конца этой истории, потому что в ее разинутый рот в этот момент упало что-то довольно крупное, нежно-филейное, кроваво-свежее. И рыбе надо было поскорее проглотить добычу.

Так что она с торопливым небрежением пробежала весь финал моей истории — для того, чтобы в следующий миг сделать с огромным наслаждением свой вожделенный глоток.

Что же она проглотила? Возможно, кровавый ошметок мяса, выдранный зубами касатки из бока кита. Черный с белыми пятнами хищник впился, мотнул... тряхнул головою, запустив свои страшные зубы в рыхлое тело морского гиганта, и мясо отскочило цельным куском от его тела... с глубоким чмокающим звуком... словно чудовищный поцелуй... в тугих фонтанах крови... в брызгах растерзанной, изорванной плоти. Кровавые ошметки мяса медленно, словно нехотя, стали оседать вниз, вниз...

Что же было тогда, поздно вечером, с моей Беатриче, когда она вернулась домой?

В тот же самый вечер, возвратившись в гостиницу, я все еще не догадывался, что это была она. Хотя имя и отчество, названные мне при встрече, были ее.

Как же так? Отчего такое затмение?

Но ведь прошло столько лет с тех пор, как рыба Simplicitas начала крошить стенку пещеры зубами и, отломив кусочек коралла, относить его ко входу и укладывать на порог, в начатую ею ограду от внешнего мира. И лет через пятьдесят рыбе удалось поднять достаточно высокую баррикаду, сузившую пещерный лаз до размеров ее пасти.

Но и моей возлюбленной, стало быть, уже далеко перевалило за сорок, ведь мы с нею были одногодками. А что может статься с любой красавицей, когда годы ее подбираются, увы, к пятому десятку... Я не узнал ее, я не мог узнать ее, я не должен был узнать ее в тот раз — иначе, может быть, произошло бы что-нибудь пострашнее моего прискорбного посрамления. Рыба созерцала ничего не понимая — как было ей понять, что, впервые увидев М. Т. в семнадцать лет, я мгновенно сошел с ума и в болезни этой, в исступленном помрачении, провел всю остальную жизнь! Девушка действительно представилась мне

божественно красивой — встретив ее лет через тридцать, я и на самом деле не узнал богиню своей юности. Крашенные в цвет ржавчины седые, должно быть жидковатые, волосы... Не очень удачные вставные зубы... Пощадите! Рыба Simplicitas, пощади!

Ведь мне всю жизнь представлялось, что у М. Т. были небесно-голубые глаза, а у этой крашеной дамы оказались глаза невнятного цвета, намешанные, болотного оттенка... Значит ли это, что сокровищ никогда не было? Или это другое: сокровища унесены ворами? Но так или иначе — как же, наверное, я сделал ей больно! Ничего еще не понял даже тогда, когда был задан мне прямой, отчаянный вопрос:

— Это правда, что вы в детстве полюбили меня и потом всю жизнь любили?

На что я ответил удивленно:

— В детстве?.. Где это? В детстве мне приходилось жить в самых разных местах... Так где же?

— На Шикотане, — был поспешный, пожалуй, слишком поспешный ответ.

— Ну что вы! — едва ли не возликовал я. — Никогда не приходилось там бывать.

В детстве я жил, правда, с родителями на Камчатке. Но на Курилах мы никогда не жили...

— Значит, это ошибка, — опять торопливо, как бы даже нетерпеливо произнесла она и с выражением легкого пренебрежения на лице отвернулась.

В проявлении этой нетерпеливости, в том, как она произнесла последние слова и резко отвернулась в сторону... — что-то едва узнаваемое, очень и очень далекое, кольнуло в край моего сердца. И я все же решил уточнить.

— Мне скоро будет пятьдесят лет. На Сахалине в последний раз я был лет двадцать пять назад... Это полжизни, знаете ли... Скажите, пожалуйста, не сердитесь на меня — но на сколько лет я старше вас?

Ах, рыба, рыба Simplicitas! Это я с примерной галантностью выспрашивал у немолодой женщины, сколько ей лет. И она ответила, усмехнувшись:

— Лет на пятнадцать, пожалуй.

— Вот видите! — Я едва не захлопал в ладоши. — Мое детство прошло намного раньше вашего...

Но что бы там ни было, каких бы нелепостей ни нагромождалось в нашем дальнейшем малосодержательном разговоре, — но убийственная истина все же прошла, словно острие ножа, сквозь все слои ложных ухищрений и достигла ее сердца. Истина, вонзившаяся в это сердце, была такова. Значит, никогда не было той любви, на гробе которой вырастают красивые цветы и произносят клятвы все новые и новые влюбленные. Я не узнал женщину и тем самым невольно нанес ей смертельную обиду и боль... Значит, не было любви? А что же было? Я-то полагал, ссылаясь на свою боль, которая оставалась со мною всю жизнь, что любовь была. Что благодаря ее утрате я обрел свое могущество ясновидца, имеющего связь со всеведущей рыбой Simplicitas.

Подобно тому как Беатриче породила великого поэта, в моем случае тайны ясновидения открылись мне благодаря одной хрупкой, прелестной натуральной блондинке. Произошло это в самую страшную для меня минуту, когда мне стало ясно видно, что кое-как и пройдет вся моя жизнь — но без нее.

3

То есть у истоков моего ясновидения и чудодейственного врачевания находилась моя собственная Беатриче. Так я считал, тем и утешался. Великая любовь к М. Т. оказалась для меня недоступной, как звезда небес, но взамен несвершенности и во искупление моих горьких юношеских слез судьба дала мне дар пророчества и способность бесконтактного лечения людей. Небо пожалело и вознаградило горемыку возможностью творить чудеса. И те государственные мужи, которым я предрек точную дату получения ими власти, матери, узнавшие через меня, где находятся их пропавшие на войне дети, безнадежные больные, которых я исцелил, — все они должны благодарить свою счастливую звезду и еще — одну миниатюрную блондинку, которую я когда-то утратил. Произошло это не по какой-нибудь моей вине или промашке, а единственно потому, что был я очень молод, беден, ничем не примечателен — совершенно неинтересен для той, которую я любил.

Многие мои пациенты, приходившие ко мне, чтобы получить исцеление, потом так и не смогли поверить, что это я их вылечил. Им было непонятно, хотя я всем терпеливо объяснял, что их опухоли являют собою, несмотря на свой порою чудовищный вид и размеры, жалкие призраки каких-нибудь умерших надежд, фантомы насильственно убиенных страстей — оборотней любовных самоубийств. И мне, научившемуся целеустремленно направлять внутреннюю энергию, ничего не стоило проникнуть в пределы больных органов пациента, туда, где царят эти призраки, и изгнать их оттуда силою своего духа.

Чтобы проводить подобное лечение, мне вовсе не обязательно было встречаться с больным, контактировать с ним — достаточно было его фотографии, какой-нибудь личной вещи, одежды. В иных случаях мне просто надо было поговорить по телефону или узнать имя человека — и я мог поставить диагноз и лечить его. А можно было и безо всякой информации — очень часто я сам узнавал, через ясное видение рыбы Simplicitas, об опасной болезни какого-нибудь совершенно незнакомого мне человека и, находясь от него на огромном расстоянии, полностью излечивал его. Разумеется, эти-то больные никогда не узнавали о том, что были на волосок от смерти и спаслись благодаря моему незримому вмешательству.

Конечно, было бы справедливо, если все эти выздоровевшие и спасенные узнали бы, что я свои магические подвиги, все до одного, посвящал некой Дульцинее, подобно Дон Кихоту. И как он, я хотел бы каждого спасенного отправить в паломничество

по направлению к ней, своей возлюбленной, чтобы тот предстал перед красавицей и открыл ей имя своего благородного спасителя. Но увы!

Сапожник, как известно, часто без сапог — пророк и предсказатель, ясновидец и фантастическая ищейка, я, потерявший однажды в московском универмаге, в толпе покупателей, свою несравненную, нигде потом не мог ее обнаружить. И рыба Simplicitas ни разу не показала мне, где, как поживает на белом свете этот самый желанный для меня человек...

Но что могла бы сделать рыба, если я сам не захотел больше искать девушку. Моя любовь как бы покончила самоубийством. В одно мгновение я потерял всякую надежду и отказался от всех попыток следовать за волшебной флейтой...

Что же произошло на самом деле? Почему я не захотел больше искать ее, увидеться с нею еще раз — предпочел похоронить ее в своем сердце? Неужели причина была в том, что такой любви не было — потому что попросту ее не бывает на свете? И мне все это пригрезилось? Но как же тогда дар прорицателя и могучая сила целительства? Какую же тогда я дал цену, чтобы получить их от судьбы? Я-то полагал, что заплачено моей отчаянной юношеской любовью. Ценою счастья, которого я никогда не получил.

Итак, мало кто верил мне, когда я излечивал их от рака или туберкулеза, обходясь всего лишь тем, что рассказывал им о своем бесконтактном методе, и после этого отсылал домой. И хотя семьдесят — восемьдесят процентов из тех, что обращались ко мне, получали полное и окончательное выздоровление, слава моя как народного целителя была не очень громкой. К тому же я не назначал никакой платы за лечение, хотя и не отказывался от нее, если человеку хотелось отблагодарить меня. А недорогой целитель всегда вызывает сомнения, большой славы ему не видать. Однако я не гнался за нею.

И все же большая международная слава пришла ко мне, она была связана не столько с целительством и врачеванием, сколько с прорицательством и ясновидением — с рыбой Simplicitas. Два чужедальних президента, болгарский и южнокорейский, оба в разное время побывали у меня, перед тем как им выставляться на выборах. Обоим я правильно предсказал получение самой высшей власти. Бывали у меня и премьер-министры, и просто министры, спикеры парламента, сенаторы, думцы и прочая, прочая — вся королевская рать, желающая узнать от прорицателя, удастся ли и на этот раз обмануть всех и заполучить в руки вожделенные рычаги власти. И хотя мне вовсе не по душе была эта публика, столь откровенно жаждавшая пограбить свой народ, при этом еще и обезопасить себя парламентским иммунитетом, — но я не мог не сообщать им того, что было у них на роду написано. И они через мои прорицания еще больше укреплялись в своей сверхъестественной наглости и даже могли пробудить в себе ее дополнительные резервы, что и обеспечивало их дальнейший неукоснительный успех.

С тех пор, как почувствовал я в себе способность прорицать и исцелять, я живу странной, непостижимой, как чужой сон, беспокойной жизнью. Я много работаю, поправляя или заново воссоздавая разрушенное здоровье тысяч людей, которые в большинстве своем не особенно верят в мое искусство или даже вовсе не знают о моем существовании. Рассказывая про удивительные видения рыбы Simplicitas, которые вскоре должны стать явью — словно стихи, что вначале приходят к поэту бессловесной болью сердца, а потом становятся хрестоматийным текстом, — я добиваюсь необыкновенных успехов у публики, стремительно и неотвратимо возвещаю, грозно прорицаю. Но до чего бессмысленна и пуста моя работа! Излеченные от рака больные вдруг умирают от дифтерии, напророченные мною властители совершают неслыханную мерзость, а потом их смещают. И сам я оказываюсь неизлечимо болен надвигающейся старостью, ясно предвижу полное одиночество перед смертью — как у всех пророков и непророков. Конечно, обо всем этом я знал и раньше, мне кажется, что всегда знал, — о, сколько помню себя, столько и было мне одиноко и грустно.

Но я полагал, что в моей жизни была М. Т., и одно это делало мою жизнь несколько иной, чем у всех.

4

Ясновидящим я стал буквально в один день, тот самый, когда, будучи еще студентом химического института, однажды совершенно нечаянно встретился в огромном магазине, на переходе, со своей Беатриче. Я ее знал еще по Сахалину, учась в средней школе, но она жила в другом городе, приезжала в наш погостить у подруги, с которою я учился в одном классе... Я подошел к ней, поздоровался и, не чуя под собой ног, зашагал рядом, мучительно ища повода заговорить о чем-нибудь интересном, и вдруг обрел способность чистого зрения. Я увидел, что эта девушка миниатюрная, прелестная, проживет свой век без меня.

Пробыв несколько секунд в глубочайшем трансе, я не заметил того, что М. Т. куда-то незаметно исчезла, затерялась в магазинной толчее. Вполне возможно, что лукавая девушка сбежала от меня, докучливого типа, который еще на Сахалине надоедал ей, а теперь в Москве умудрился найти ее в огромной толпе, — шмыгнула куда-нибудь в сторону... А я был весь в холодном поту, я стоял пошатываясь посреди густого людского потока. Меня толкали, бранили какие-то женщины, с возмущенным видом обходили мою нелепую несчастную фигуру.

Отстраняющую каменную руку судьбы ощутил я на своей груди, и далее мне не было ходу. Я встречусь с нею еще один раз через много лет — на Сахалине.

Передо мною был пыльный, с ободранным асфальтом, невзрачный переулок где-то на окраине Южно-Сахалинска. Серого цвета некрашеные забо-

ры, какой-то жесткий урбанистический пейзаж впереди, черная труба на растяжках — и две женщины, идущие рядом со мной.

Все так и свершилось в точности. Была неказистая улица южносахалинской окраины, на широком перекрестке сухая пыль неслась по асфальту, словно поземка. Две женщины вели меня куда-то, пригласив на чай в дом одной из них. Перед этим я выступал на встрече с рабочими вагоноремонтного завода, которая состоялась прямо в цехе.

Столичная Академия народных целителей и магов, коей членом являлся и я, послала меня на остров Сахалин, чтобы нести в отдаленную провинцию свет новых знаний нетрадиционной медицины и познакомить сахалинцев с практикой белой магии и провести сеансы ясновидения. Но местные власти, еще не достигшие новых уровней мышления, представляли еще все по-старому, мыслили прежними категориями, поэтому и послали меня встретиться с рабочим классом на вагоноремонтный завод. И бедная рыба Simplicitas, вытаращив глаза и зевая от скуки, просмотрела один из самых рутинных спектаклей из той жизни, где без всяких шуток считалось, что работяги верят тому, о чем говорили им их надзиратели-чиновники: вы не рабы, рабы не вы, вы хозяева.

Считалось, что работягам надо давать побольше культурных знаний, но, так как чумазые хозяева слишком заняты на работе, времени у них нет — пусть знания сами-де придут к ним. Да прямо в цеха, и лучше всего — в обеденный перерыв, минут на двадцать, на полчаса, что остается у них после приема пищи, — прежде чем рабочие снова по-хозяйски приступят к работе.

Так мы и жили — вынуждены были так жить, — но я уже давно научился выходить за пределы своего бездарного времени и уноситься, как правило, в будущее, где меня уже не окажется. Это я больше любил, чем уходить в прошлое.

Все, все мы предстаем в видениях рыбы Simplicitas. Но не каждому из нас дано самому увидеть ее. Может быть, не каждый из нас и существует, несмотря даже на наш гражданский паспорт и на твердые трудовые мозоли на руках.

Однако чего ради искать в прошлом встреч со своим внутренним гением?

Simplicitas всегда в настоящем. Я смотрю на рыбу — рыба смотрит на меня. И мы в том самом мире, о котором было сказано: «И увидел я новое небо и новую землю: ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».

Моря уже нет! На земном шаре перестали быть все моря и океаны — Тихий, Ледовитый, Индийский, Атлантический. На их месте раскинулись цветущие просторы нового глобального континента. Таким образом и создались на обновленной планете огромные жизненные пространства, достаточные для того, чтобы на них могли разместиться все воскрешенные праведники.

Да, места стало много, и вместо океанов водный баланс всей земли обеспечивают многочисленные новообразовавшиеся реки пресной воды, большие и малые, которые замыкаются в общей колоссальной водоносной системе планетарного организма.

Итак, земля была, вода была — но не было воздуха! Того самого неощутимого безвкусного воздуха, которым дышали мы все, пока жили. А было недоступное для нас, прежних, грешных, какое-то особенное «новое небо». И рыба Simplicitas со скорбью и сожалением смотрела на меня, выступающего перед вагоноремонтными рабочими. Все мы до единого были и лжецами, и любодеями, и, вполне возможно, даже убийцами — а потому и недостойными существовать под новыми небесами. Рабочие сидели на длинных деревянных обшарпанных скамейках и внимательными, недоверчивыми глазами закоренелых грешников взирали на меня, прибывшего из столицы лектора-экстрасенса, одного из многочисленных чародеев конца второго тысячелетия.

5

После того, как я закончил свою нелепую встречу с рабочими, все же попутно излечив двоих из них — одного от цирроза печени и другого от пиелонефрита (о чем работяги и сами не ведали!), — а также изрек пророчество о том, что через год и два месяца Империя распадется и в ней наступит предапокалиптический ужас, а непосредственно на Сахалине произойдет страшное землетрясение, — я направился к выходу сквозь расступившуюся толпу рабочих (их стало гораздо больше: должно быть, пришли те, что уходили обедать в рабочую столовую), и тут меня остановили две женщины, которые отрекомендовались журналистками местного радио. Во время лекции, когда я, должно быть, погрузился в транс, эти две женщины пробрались в первый ряд и затем поставили свои записывающие устройства на широкий стол, сколоченный из некрашеных досок, посреди которого валялись разбросанные фишки домино...

И потом мы шли по пыльным южносахалинским улицам к дому одной из них, куда меня пригласили на чашку чая. Я неожиданно для самого себя принял приглашение, хотя обычно этого не делаю, избегая ненужных утомительных знакомств со своими пациентами, — все, все, кого мне только приходилось узнавать на этом свете, непременно становились моими пациентами. И когда мы пришли на какую-то безликую, неуютную квартирку и там разговаривали, пили чай — ни разу я не вспомнил о том, что когда-то впервые предстало моему ясному видению. Не вспомнил, как рыба предсказала мне, что я встречу М. Т. еще только раз в жизни и эта встреча произойдет через двадцать пять лет на Сахалине.

О, разумеется, это большой срок, за такое время многое изменилось во всем мире, и на Сахалине, и во мне самом, и в моей постаревшей на четверть ве-

ка Беатриче. Но она так хотела помочь мне! Она старалась вести себя и разговаривать со мною таким образом, чтобы я мог узнать ту своевольную, гордую, прелестную девушку, уверенную в своем высоком предназначении. Эти внезапные умолкания посреди фразы... Резкие перемены темы и уходы в сторону при разговоре... Эта неожиданная чарующая улыбка, обнажавшая не только зубы, но и розовые влажные десны... При этом глаза остаются серьезными, даже как будто хмуроватыми.

Она вдруг стала мне рассказывать, что муж ее, де, в каком-то долгосрочном отсутствии, что дома с нею семнадцатилетний сын, которого она очень любит, балует... Я с недоумением смотрел на нее (рыба впоследствии беспощадно, в замедленном действии, продемонстрировала всю эту постыдную для меня сцену), я не понимал, к чему все это. Ну что мне до какого-то семнадцатилетнего парня, который здоров как бык, но у него в носу аденоидные полипы, их надо бы попросту вырезать, однако я попробую, пожалуй, их удалить другим способом... — зачем мне знать, что он ушел гулять и оставил матери записку: мол, вернется очень поздно или, может быть, даже задержится до завтрашнего утра? Возникший в поле моего внутреннего зрения еще один неизвестный человеческий субъект ничем не выделялся из тысяч и тысяч других таких же, существующих где-то и, скорее всего, навсегда безвестных для меня. От бесконечного сонма подобных призраков я уже так устал, и этой усталостью можно объяснить ту беду, которая случилась со мною тогда, — за весь вечер, что провели мы вместе на квартире у подруги и сотрудницы М. Т., ни разу в моей провидческой душе не промелькнуло хоть что-нибудь близкое к догадке...

6

Я находился в двух шагах от нее, несколько часов был рядом с тою, которую только и любил в жизни... и я не узнал ее.

Так, может быть, и на самом деле ее вовсе не было, этой любви? Тогда что же было? А ничего не было. Ни рыбы Simplicitas, ни угаданных мною заранее президентов и министров, ни тысяч и тысяч излеченных от смертельных недугов людей — ни самих этих людей, ни того странного, томительного, бессмысленного мира, в котором они якобы должны были вести свое бессмысленное существование.

И все же — я есть и что-то со мною происходило. Если то, что со мною происходило, нельзя называть любовью, можно ли ею называть то, что бывает почти со всяким, даже с косматым дикарем тропической сельвы, который ходит голым и вместо штанов носит какую-то интимную бамбуковую трубку?

То, что пробудилось и буйно произросло в этой душе, когда мне было семнадцать лет, да так в душе и осталось, никуда не вырвавшись, — несомненно являлось любовью. А то, как я испугался чего-то и перестал искать М. Т. — после встречи в универмаге никогда больше не пытался найти, увидеть ее, — имело причиной мистический страх потерять или, точнее, самому умертвить свою любовь. Убить эту любовь тем, чтобы затащить ее в разряд унылых действий, доступных и дикарю, и мужскому секс-символу, киноактеру N.

Но я не захотел следовать за нею — потеряв ли надежду, испугавшись некрасивости жизни — и тем самым все равно убил любовь. Я как бы принес ее в жертву, ею заплатил за то, чтобы стать одним из популярных чародеев двадцатого века. Вместо призрачного счастья, вызывающего в человеческих сердцах спазм пронзительной жалости к быстротекущей жизни, я заполучил рыбу Simplicitas, которая живет в каменной норе, никуда из нее не выбираясь.

И я, находясь рядом с тою, которая была моей Беатриче, недоумевал, почему эта крашеная, немолодая, неизвестная мне женщина так волнуется и разговаривает со мною несколько странным образом — нетерпеливо и с плохо скрываемой досадой.

Я выслушивал не интересные для меня истории про семнадцатилетнего парня — с врожденной сатанинской гордыней, что и станет причиной многих неудач в его жизни, а однажды он попытается выместить их на родной матери... Я скучал, томился чуждостью всего окружающего, ненужностью этой встречи — я любил ее всю свою жизнь, она стала причиной перелома моей судьбы, причиной того, что я не захотел быть инженером-химиком, а стал целителем-экстрасенсом... — и вот я не узнал ее.

Она же захотела со мною встретиться, когда я стал толст, лыс, некрасиво знаменит, морщинист, с набрякшими мешочками подглазий, с тяжелой усталостью на душе. И я не узнал ее даже тогда, когда она отчаянно и откровенно намекнула, кто она, задав вопрос: правда ли, что я любил ее в детстве?

Но откуда она-то могла узнать об этом, равно как и о том, что я всю жизнь продолжал любить ее? Кто мог открыть ей такое? Или в Эпоху Всеобщей Растерянности, словно перед концом света, маленькая крашеная женщина стала, как и многие из нас, пророчицей и яснознающей, читавшей в чужих душах? Рыба Simplicitas не ответила мне на этот вопрос.

— У тебя любовь была, — говорила мне рыба Simplicitas, — потому что в молодости твоей, как и у многих, был избыток энергии выживания. Его бывает гораздо больше, чем надобно для этого выживания, а ты был к тому же особенно щедро наделен от природы. И вот, значит, твой излишек и был твоей любовью, и его оказалось довольно много. Но с годами энергия выживания, отпущенная человеку, постепенно оскудевает, и к старости ее остается ровно столько, чтобы только поддерживать само существование. На любовь уже нет энергии. И ты не узнал свою Беатриче не потому, что твоей любви в этом мире никогда не было, что она оказалась лишь ложной тревогой юности.

Далее последовал такой рассказ. В какое-то определенное время юности рыба Simplicitas впервые увидела, припав глазом к верхнему краю входного отверстия, соседнюю пещеру и в ее темном отверстии — чей-то круглый глаз и кусочек серой жаберной пластинки. Когда рыба стала взрослой, пришла к ней любовь, и она полюбила хозяина того загадочного глаза. Настал день, когда она, охваченная небывалым волнением, заворочалась в своей пещере, и невыносимым стало для рыбы пребывание в ней. Опостылели ей тревоги ночи и дневное насыщение унылой пищей — падающим сверху мусором моря. И, сделав над собою небывалое усилие, Simplicitas свернулась в кольцо и стала крутиться в норе, словно беличье колесо. Неизвестно, как долго она пребывала в этом круговращательном движении, — но в какое-то мгновение вся ее воля к жизни, которую она ни у кого не вымолила, не забрала, а получила совершенно непонятным образом, вдруг сосредоточилась на едином неимоверно сладостном действии. Рыба замерла перед входным лазом и, выставив в него нижнюю часть брюшка, мучительно напрягаясь, извергла из себя красную как кровь, длинную струю икринок. Затем успокоилась, повернулась и, взглянув на соседнюю нору, увидела, как оттуда выливается молочно-белая, мутная, дымящаяся струя.

Облитые этой струей, красные икринки Simplicitas медленно утонули, ушли вниз, в черную бездну.

— Вот какова была моя любовь. Оказывается, мы любим в своей жизни всего один раз. Оплодотворенные икринки моей первой и единственной любви плавно опускались вниз, скользя по отвесной стене кораллового рифа. Некоторые из них были тут же подхвачены и проглочены плавающими вблизи атолла пестрыми рыбами, другие же медленно, как бы нехотя, но неотвратимо уходили в бездонную темную глубину. А иные попадали в такие же пещеры, как и моя, где обитали другие отшельники Simplicitas, и прямиком опускались в их разинутые пасти, подставленные в виде широких корзин ко входным отверстиям. И лишь одна из тысячи икринок оказывалась в какой-нибудь свободной, никем не занятой пещере и там, пролежав определенный срок в укромной расщелине, однажды вдруг начинала шевелиться, дышать всей оболочкой... И вскоре, разорвав ее, на свет являлся крошечный малек Simplicitas, потомственный жилец пещеры, новый отшельник атоллового рифа. Таким образом появились и я, и тот соседний житель, моя первая и единственная любовь, в своих пещерах — все мы, никогда не выходящие за их пределы, во внешние воды, потому что там опасно и, что там говорить, — ничего интересного, ну, ничего интересного ведь нет для нас.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация для подписчиков и читателей «Роман-газеты»

В честь 90-летнего юбилея нашего журнала редакция планирует выпустить в 2017 году не двадцать четыре, как обычно, а двадцать пять номеров «Роман-газеты». Один из номеров во втором полугодии будет посвящен истории старейшего литературного издания страны. В него войдут уникальные материалы из архива редакции, интервью главных редакторов, письма и обращения классиков советской и российской литературы, а также новый каталог «Роман-газеты» (с 1997 по 2017 годы). Каталог журнала с 1927 по 1997 годы был издан в 1997 году.

Генеральный директор
Елена Шевцова

Главный бухгалтер
Людмила Дьячкова

Художественный редактор
Татьяна Погудина

Цветоделение и компьютерная верстка
Александр Муравенко

Заведующая распространением
Ирина Бродянская

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, Россия, Москва,
Хорошевское шоссе, 38
тел. +7(499) 762-63-02,
факс +7(495) 941-40-66
e-mail: kz@redstar.ru,
www.redstarprint.ru

Тираж 2 500 экз.
Уч.-изд. л. 10,0.
Заказ № 1339-2017

Адрес редакции:
Россия,
107078, Москва,
Новая Басманная, д. 19

Телефоны
редакции:
8(499) 261-84-61
отдела распространения:
8(499) 261-95-87
Факс:
8(499) 261-49-29
E-mail:
www.roman-gazeta-1927@yandex.ru
Сайт:
www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Отклоненные рукописи сохраняются в течение года.

10 ноября 1939 года, после ареста соседей Клепининых, они покидают этот дом навсегда.

Бревенчатый, такой не монументальный на вид, дом пережил всех, страдавших в нём. Пережил и войну, и последующую городскую застройку вокруг. Был поделен на несколько отдельных квартир, оброс новыми входами и пристройками.

В год столетия Марины Цветаевой, в 1992 году, в доме открывается Мемориальный музей-квартира; в 2008 году музей получает статус Мемориального Дома-музея, а в 2013 году, благодаря поддержке Губернатора А. Ю. Воробьева, Министерства культуры Московской области и администрации г. Королёва дом был отреставрирован и экспозиция музея теперь располагается во всех комнатах дома.

Торжественное открытие обновленного музея состоялось 19 июня 2013 года — в день приезда Цветаевой в Болшево в 1939 году. Ежегодно в этот день загорается Цветаевский костер, собирая вокруг себя почитателей и исследователей творчества Цветаевой.

Год 2017 — это год 125-летия Марины Цветаевой и 25-летия Мемориального Дома-музея в Болшеве, который все эти годы возглавляет Зоя Николаевна Атрохина.

За прошедшие годы небольшой подмосковный музей вырос в учреждение культуры, известное не только в России но и за рубежом; улица, где находится музей, теперь носит имя поэта; близ музея разбит сквер «Марины Цветаевой», где проводятся поэтические встречи и общегородские праздники.

Установлены научные и культурные связи с музеями Москвы, Александрова, Тарусы, Иванова, Елабуги, с цветаевскими центрами Чехии, Франции, США. В 2015 году началось сотрудничество с городом Фрайбург, в котором Марины Цветаева жила в детстве. Сотрудники музея принимали участие в установлении мемориальной доски, посвященной Цветаевой, в пригороде Париже Ванве.

В фондах музея находятся уникальные вещи, связанные с семьей Цветаевой-Эфронов, и прижизненные издания произведений Цветаевой.



Музей также активно занимается издательской деятельностью. Вышли в свет книги писем Марины Цветаевой к К.Б. Родзевичу и А. Штейгеру; письма Георгия Эфрона.

Старший научный сотрудник Л. А. Мнухин подготовил к печати пятитомник писем Марины Цветаевой (с 1905 по 1941). Также издаются литературоведческие работы и сборники докладов по итогам научных конференций, проводимых музеем. Музей — неоднократный участник Интермузея и разнообразных выставок.

Сотрудники редакции «Роман-газеты» стали гостями музея Цветаевой в Болшеве. После интересной экскурсии и беседы о творчестве Марины Цветаевой и писателях её круга пришла идея — выпустить к юбилею выдающейся русской поэтессы XX века сборник её прозы в формате нашего журнала.





